СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Валерий Бродовский
По следу зверя
Повесть 15

ПОЭЗИЯ

Валентина Дмитриченко
Стихотворения 3
Елена Гончарова
Стихотворения 87
Оксана Крис
Стихотворения 151

КРАЕВЕДЕНИЕ

Лилия Жидкова
Потерянный клад 95
Николай Блохин
Перстень Ермолова 181

НЕИЗВЕСТНАЯ КЛАССИКА

Павел Белецкий
На вольной земле
(отрывок из романа) 103

БРАТСТВО КАВКАЗСКИХ ЛИТЕРАТУР

Эльбрус Скодтаев
Курица
Рассказ 157

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Юрий Тимашев
«Такой родной, щемящий мир...» 205
Иван Аксенов
Беседы о литературном мастерстве ...225

Главный редактор
Владимир Бутенко

Литературное Ставрополье

№ 3 (2021)

© Правительство Ставропольского края

ББК 84(2=411.2)64
УДК 821.161.1(470.630)-8
С23

Редакционная коллегия:

И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн, Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова, Т. Третьякова-Суханова

С23 **Литературное Ставрополье. Альманах. —** Ставрополь, 2021 г. — № 3

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел.: (8652) 26-31-50.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

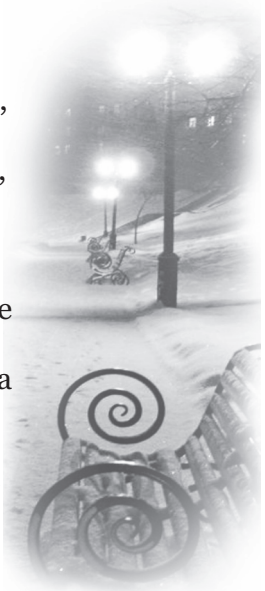
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЧЕНКО

Поэзия

***

Я встаю с петухами,
Вижу красный восток.
Заполняю стихами
Непочатый листок.
Он, как вешнее утро,
Что идёт по земле,
Просветлённо и мудро
Возлежит на столе.
И рассвет волоокий
Зажигает меня,
И вплетаются в строки
Звуки нового дня:
Воробья и синицы,
Снегиря и чижа...
И стихов вереницы
На страницу спешат.

Ни шагу назад



Снуют дрозды в сиреневом угаре,
В песчаный берег тычется волна.
В моём раю по паре каждой твари,
И только я по-прежнему – одна.
Ни от кого на свете не завишу,
И у меня всего одна беда:
Я голос твой теперь всё реже слышу,
А свой – не вспомню – слышала когда.
А с тополей свисают клочья ваты.
Ну что ж – деревьям свойственно сорить.

И всё бы ничего, но страшновато
Однажды разучиться говорить.
Как грустно знать: назад нельзя ни шагу
И жить на этой горестной земле...
Но, слава Богу, есть ещё бумага
И стул, и стол, и лампа на столе.

Рядом с речкою

Рядом с речкою зимую,
Точно зная лишь одно,
Что судьба не зарифмует
Нас с тобою всё равно.
Не попьёт на нашей тризне
Виноградного вина,
Не запишет в книгу жизни
Рядом наши имена.
Не разбавит неба синьку,
Не заплачет, не вздохнёт,
Со щеки моей слезинку –
Знаю точно – не смахнёт.
Не сольёмся в поцелуе
Мы с тобой на небесах,
Не споют нам "алилуйя"
Ангелочки на часах.

Словно лёд, твоя ладонь

Сушит небо полотно,
Расстелив туман по крыше.
Органзой цветущей вишни
Занавешено окно.
Изумрудная роса,
Соловья ночное соло
Да невинный взгляд виолы,

Устремлённый в небеса.
Светят дальние огни,
Вьётся клевер у ограды.
Счастье близко, счастье рядом,
Только руку протяни.
Протянула. Холодна,
Словно лёд, твоя ладошка.
Даже ты смущён немножко,
Что моя обожжена.

Январский день

Январский день, похожий на весну,
Ключом Кастальским у калитки бьётся.
И ловит полдень душу на блесну
Ещё нераспустившегося солнца.
Клюю на этот призрачный обман,
На это отраженье слюдяное...
А над рекой такой густой туман,
Какой бывает разве что весною.
Играют в салки блики на стене,
Сметая прочь недавнее ненастье...
Ты на короткий миг приснился мне,
А я который день свечусь от счастья.

Моя хата с краю

Опять моя хата с краю,
Где клёны стоят в пыли.
А я называю раем –
Вот этот клочок земли.
Ращу под окошком розы,
Которых не видел ты.
Здесь бабочки и стрекозы
Обхаживают цветы.

Здесь парочка богомолов,
Освоившись, как в лесу,
Степенно из глаз виолы
Горючую пьют слезу.
Поленница за сараем,
Калины резной шатёр...
Всю жизнь моя хата с краю,
Но, Боже, какой простор!

Стужа

Взгляните, какие эскизы
Явились мне из полутьмы:
Надёжно вцепились в карнизы
Бескровные пальцы зимы.
И мутного солнышка кокон
Над лесом встаёт тяжело,
И белые космы волокон
Его обрамляют чело.
Звенит и поёт под ногами,
Во льды облачившись, река.
И бьются, и трутся боками
О купол небес облака.
Над миром витает и кружит,
Сверкая на солнце, пыльца.
И кажется – этой вот стуже
Вовеки не будет конца.

Снег

Сквозь ограждение моста,
Сквозь кованую вязь ограды
Глядит такая чистота,
Пришедшая со снегопадом.
И в тёмном зеркале пруда
Всё непременно отразится:
Дома, скамейки, люди, птицы,
Деревья, небо, провода –
Как в опрокинутом кино
На перевёрнутом экране.
Скругляя все углы и грани,
Зажжётся в сумерках окно.
И время остановит бег,
Моим желаньям потакая.
И всюду чистота такая,
И всюду только белый снег.

Колыбельная внуку

Баю-баюшки-баю,
Слушай песенку мою.
Я тебе у колыбельки
Эту песенку спою:
Баю-баю-баю-бай
Поскорее засыпай.
У пруда под старой кочкой
В камышах живёт бабай.
Он ни беден, ни богат,
У него лукавый взгляд.
Он рассказывает сказки
Малышам, что крепко спят.
У него полно забот,
У него учёный кот

По скрипучим половицам
Ходит задом наперёд.
У него в его избе
Есть труба, а на трубе
Старый филин чудо-сказку
Сочиняет о тебе.

Восход

Звенят, поют в терновнике
У голубой воды
Синички-ополовники,
Овсянки да дрозды.
Восход над степью розовый,
Как приглашенье в рай.
Любимый край берёзовый,
Благословенный край.
Пичуг разноголосица,
Дорога на погост.
Но сердце... Сердце просится
Туда, где травы в рост.
Туда, где ивы в платьицах,
Где солнце колесом
По горизонту катится
Над вызревшим овсом.

Не для тебя ли?

Зачем ты в сторону глядишь,
Ступая рядом?
Не от меня ли ты бежишь,
Моя отрада?
И прерываешь разговор,
Что жжёт и жалит,
И тяжело отводишь взор

Не от меня ли?
Не от меня ль к тебе пришло
Души волненье?
Не от меня ль тебе светло
До озаренья?
Не от тебя ль я, жизнь губя,
Ночами плачу?
Не для тебя ль я, для тебя
Так много значу?!

Этот парень из нашего города

Мать по горнице ходит на цыпочках.
За окошком космический век.
Паренёк по фамилии Скрипочка,
А по имени – просто Олег
В тишине созерцает созвездия,
Погасив электрический свет.
Для него ничего интереснее
В этом мире, пожалуй, и нет...
Позади выпускные экзамены.
Даль открыта, распахнута высь
И мечты его самые-самые,
Как и сны – воплощаются в жизнь.
Небо вспышкой над Родиной вспорото,
Грянул гром, предваряя зарю...
– Этот парень из нашего города! –
Людям с гордостью я говорю.
По бескрайним просторам космическим,
От родных и любимой тайком,
Он по Млечному, словно по Питерской,
Над землёй пролетел с ветерком.

И ты, и ты, моя отрада

Никак весной не разрешится
Холодный хмурый мокрый март.
Так пасмурно, что даже птицы
В саду нахохлившись сидят.
Провис свинцовый полог неба,
И вётлы маются в снегу.
И так бездарно, так нелепо
Трещит сорока на суку.
В той трескотне, в ошмётках смога
И в облаках, плывущих вдаль –
Непреходящая тревога,
Необъяснимая печаль...
И ты... и ты – моя отрада,
Мой демон, как ни славословь –
Невосполнимая утрата,
Неразделённая любовь –
Забудешь говорить стихами,
Не позвонишь, не позовёшь.
И нить последнюю меж нами,
Как паутинку, оборвёшь.

Далеко до рассвета

Догорела моя свеча.
Далеко до рассвета, но
Белым облаком алыча
Заглянула в моё окно.
В тихой заводи тает лёд,
Блики мечутся по реке.
И душа соловьём поёт,
Притирая строку к строке.

Ведь задача моя проста:
Разложить по сортам слова...
И светла моя голова,
И душа у меня чиста.
Опоил ты её вином,
Ты имеешь над нею власть,
Потому что она давно
Неделимо с твоей слилась!

Россия

Ах, Россия моя – Рассея.
Дым пожарищ то там, то тут.
Конский щавель, полынь, левзея
По оврагам твоим цветут.
Покосились твои избушки,
Паутина по образам.
И считают года кукушки
Одичалым бродячим псам.
Здесь никто не пахал, не сеял,
Двадцать долгих тревожных лет.
Ах, Россия моя – Рассея –
Непроглядные тьма и свет!
Где же удаль твоя и сила,
Что спасёт тебя от беды?
Просыпайся, моя Россия,
И напомни врагам – кто ты!
Знамо дело, что небезгрешна,
Но зато с огоньком в груди...
Мир глядит на тебя с надеждой.
Умоляю: не подведи!

Из детских снов

Живут в сознанье прочно,
Всплывая чередой:
Туман, рекой молочной
Бегущий над водой,
Цветные акварели
Из давних детских снов
И жаворонка трели –
Основа всех основ.
Моя босая воля,
Где счастье через край.
Ромашковое поле,
Черёмуховый рай,
Распахнутая книга
Небесной синевы,
Где пахнет земляникой
От скошенной травы.

Сердце там, где богатство

Сердце каждого там,
Где богатства его,
Где заботы его
И мечты, и дела...
Я за жизнь не сумела
Скопить ничего,
Потому, что богатой,
Увы, не была.
Не носила мехов
И колец дорогих,
Во дворцах не жила,
Не искала утех.
Я обжорство и праздность
Считала за грех,

А пахать приходилось
Всегда за троих.
Было сердце наполнено
Светом зари,
Звездопадами, ливнями,
Щебетом птиц.
И влетали в окошко
Моё сизари,
Рассыпая по комнатам
Вспышки зарниц.
Нет в душе моей места
Нытью и тряпью,
Потому-то и манит
Меня высота...
Просыпаюсь и с птицами
Вместе пою,
От того, что –
Свободна душа и чиста!

Рок

Расплата, возмездие, рок.
И крыть человечеству нечем.
Земля, совершив кувырок,
Стряхнёт с себя всякую нечисть.
И тех, кто живёт без забот,
И тех, что причислены к слугам –
Отыщет Господь и найдёт,
И всех наградит по заслугам.
Не будет напутственных слов,
Не будет ненужных вопросов,
А будет лишь скрежет зубов,
Да стоны, да крики, да слёзы.

Мне снилась ночь

Мне снилась ночь с тобой. О, эта ночь –
Глубокая и тихая, как омут –
Была светла от звёзд и от черёмух
И все тревоги уходили прочь.
Цвели зарницы где-то далеко
И наполняли грудь мою стихами,
И пенилось черёмух молоко
У самых губ, перехватив дыханье.
Мы шли в луга, и расступалась тьма,
И бешено о рёбра сердце билось...
О, эта ночь свела меня с ума –
Она была! Она мне не приснилась!
Я не забыла тот прекрасный миг:
Он в сны мои порой приходит снова,
Где ты светло коснулся губ моих,
И разбудил, не проронив ни слова!

По следу зверя...

ВАЛЕРИЙ БРОДОВСКИЙ

Проза

12

С трудом разлепив веки, Николай обнаружил себя в той же сырой, с заплесневелыми стенами, полутемной камере, куда его в беспамятстве вернули после допроса. Сколько времени пролежал так, он не знал. Взгляд остановился на зарешетченном плафоне, испускавшем скудный свет. Вспомнились мать с сестрой, отец. «Что будет с ними, если меня не станет?.. Жив ли батька?»

От потолка отделилось прозрачное облачко. Николай напряг зрение. Облачко стало размываться, приобретая абрис женской фигуры. Вот и лицо проявилось: глаза – зеленые, бездонные. Или голубые? «Какого же цвета глаза у Лиды?..»

Пронзительный женский крик, донесшийся откуда-то издалека, заставил его вздрогнуть: «Лида?» Коля с трудом присел, поджав под себя ноги. Тело ныло, словно по нему телега прокатилась. По коридору зацокали подковы, и протяжно заскрипел тяжелый дверной замок. В это мгновение Коля

остро почувствовал, что хочет жить. Жить, чтобы снова увидеть родных, Лиду...

И опять его вели по знакомому длинному сырому коридору, по левой стороне которого тянулись железные двери, откуда доносились приглушенные голоса и стоны мужчин и женщин. Он хотел знать, здесь ли Лида, но спросить конвоира – значит, выдать девушку.

Вдруг, что-то вспомнив, Коля повернулся к нему:

– А который теперь час?

– Тебе-то на кой? – удивился полицай. – Здесь, под землей, что день, что ночь – все едино. – Толкнув арестанта в спину, чтобы ускорился, он все же ответил: – Время к полудню!

Лицо Сверчка напряглось. «Пора! – решил он. – Потом будет поздно. Только бы все получилось!..»

В допросной в нос ударил тяжелый, смрадный запах пота, крови, гуталина и еще бог знает чего. Под потолком густым облаком висел табачный дым, едва заметно плывя к воздушной вьюшке. Молодой полицай размашистыми движениями водил сырой шваброй по полу, пытаясь смыть подсохшие пятна крови. Почувствовав тошнотворный ком у горла, Сверчок с трудом подавил приступ рвоты.

За столом, с деловито-начальствующим видом, восседали Матюшин с Власенко. Гитлеровцев в помещении не было.

– Ну что, комсомолец-доброволец, говорить будем? Или продолжим отпираться? – прокашлявшись в кулак, командир взвода шумы пренебрежительно ухмыльнулся. – Или ты не комсомолец?

– Комсомолец, – с трудом ворочая отекшим языком, ответил юноша.

– Идейный или как? – многозначительно спросил Матюшин.

– Не задумывался.

Кондрат взглянул на сидевшего рядом с усталым видом Власенко.

– Что, Василий, нечем дышать? – подмигнул он. – Вот, если товарищ комсомолец согласится рассказать нам все, то переберемся наверх, в кабинет капитана. Там и воздуху побольше, и солнца вдоволь. А мы с тобой его за это накормим, напоим. – Матюшин повернулся к партизану. – Есть-то, хочется, небось? Сала с бульбой, с капусткой квашеной? Можем и самогончиком угостить, с малосольным огурчиком, а?

Почувствовав, как заныло под ложечкой, Сверчок незаметно сглотнул слюну:

– Спасибо, не употребляю! Да и не голоден я.

Нахмурившись, Матюшин вновь обратил взор на своего товарища:

– Видишь, не хочет юноша с нами выпить! Брезгует! Так что готовь, Василь, свой винтарь. Нынче твоя очередь дырку сверлить в партизанской башке.

Нарочито громко зевнув, Власенко с силой потер ладонями лицо, разгоняя дрему, затем разгладил на выпирающем животе форменную сорочку, царапнул ногтем засохшую каплю крови на ней.

– Моя винтовка всегда готова. Одной башкой меньше, одной больше – разницы нет.

Коля понимал, что его пугают, но легче на душе от этого не становилось. Вдруг лицо Матюшина засветилось самой доброй из его улыбок:

– Юнак, а может, хочешь напоследок с Лидкой свидеться? Так ты скажи, мы устроим! Ты ведь знаком с ней?

Большого усилия стоило Сверчку не выдать себя. Выходит, это ее голос слышал несколькими минутами раньше? «Когда успела рассказать о нашем с ней знакомстве?» – подумал он, но вслух произнес,

пожимая плечами:

– А кто это? Что-то не припомню никого с таким именем.

– Ты же встречался с ней!

– Я? Не помню.

– А вот она тебя хорошо запомнила. Ладно, раз не хочешь, то мы сами с ней, это самое, управимся, – со злобной усмешкой проговорил Матюшин. Встав из-за стола, он поднял обе руки, едва не касаясь низкого потолка, медленно, с наслаждением потянулся до хруста в спине, обойдя стол, остановился напротив партизана. – Ну, вот и все. Похоже, сегодня, действительно, твой последний день. У меня приказ шлепнуть тебя, если будешь упрямиться.

«Матерому зверю в глаза не смотрят! Это приводит его в бешенство», – когда-то учил Сверчка дед Захар, заставляя при этом долго смотреть в зрачки только что пойманной им волчицы. Ее потом отпустили, но с тех пор Сверчок твердо знал, что сможет выдержать взгляд любого зверя или человека. Как утверждал бывший пластун, в ближнем бою тот, кто не отворачивается, имеет моральное преимущество перед противником. В этот раз Коля упражняться не стал, первым опустил глаза, покорно выдавив, точно совесть выплюнул:

– Ладно, я все скажу, только не бейте больше.

От неожиданности глаза полицая полезли наружу:

– О как! Чего вдруг? Жить хочешь?

– Кто же не хочет?!

– А когда господин капитан допрашивал, чего молчал?

– Боялся! С немцами боязно говорить. Другое дело – с вами. Они нам чужие, а вы – свой.

– Я тебе, сучонок, не свой! – замахнувшись,

рявкнул Кондрат над его ухом, но бить не стал. Николай испуганно втянул голову в плечи. Он, и в самом деле, боялся. Боялся, что не поверят в его искренность. – Твои землю удобряют, понял? – довольный произведенным эффектом, Матюшин вернулся к столу. – Будь моя воля, я бы всех вас к стенке поставил.

Отправив молодого помощника, закончившего смывать кровь с пола, за капитаном, Кондрат развалился в кресле и надолго задумался.

Выстраиваемые им долгое время отношения с Хойером в последнее время заметно изменились. Он не сразу понял, что могло послужить тому причиной. Свою часть договора Кондрат по-прежнему исправно выполнял. Разве что не всегда так, как хотелось немцу, но все же. Однако офицер все чаще пребывал в дурном настроении. И раньше неравнодушный к алкоголю, стал больше выпивать, срываться на подчиненных. Доставалось и Кондрату. Скоро стало ясно: причиной перемены в настроении капитана явилось предчувствие неминуемого краха. Хойер не один был в этом уверен. Депрессия охватывала многих гитлеровцев, как офицеров, так и солдат.

– Так где, говоришь, находится твой отряд? – очнувшись от размышлений, снова задал вопрос Кондрат:

Сверчок развел руками:

– Этого я, действительно, не знаю. У нас так поставлено: если кто-то не вернулся с задания и возникло подозрение в его предательстве, то лагерь сворачивается. Как раз мой случай. Я, конечно, могу отвести вас к старому месту, но толку от этого?

Николай говорил правду. У Чепракова всегда была в запасе база, порою не одна, куда, в случае необходимости, он мог перевести партизан. Их

устройством и консервацией занимался Захар Петрович Степаненко. Иногда старик неожиданно исчезал из лагеря. Вместе с ним пропадали еще несколько человек. В отряде не принято было любопытствовать, куда и зачем. Не говорил дед Захар об этом даже своему любимчику. Сверчок и не спрашивал. Понимал: значит, так надо.

Матюшину этот аргумент показался весомым.

– Хитер Чепраков, ничего не скажешь! – Мясистые губы полицая растянулись в нитку. – Тогда о чем поведаешь капитану?

– Я знаю, как найти Чепракова! Вам ведь он нужен больше, чем отряд?

Кондрат подался вперед всем корпусом:

– Ну, говори! С этого и нужно было начинать.

– Скажу, если пообещаете сохранить жизнь мне и... – Коля хотел просить и за Лиду, но вовремя остановился. – В общем, если пообещаете сохранить мне жизнь.

– Торгуешься? – Крупные желваки забегали по щекам полицая. – Условия ставишь?

Сглотнув кровавую слюну, Сверчок распрямился в спине:

– Я расскажу, а вы меня в расход пустите? – проговорил он, на этот раз не отводя взгляда.

– Ты и так все расскажешь.

– Это вряд ли.

Памятуя, как стойко юноша повел себя во время предыдущего допроса, Кондрат мысленно матюгнулся: «А ведь и, вправду, не скажет! Хоть и юный, а упертый черт».

Скоро в помещение, в сопровождении переводчика Рюйтеля и все того же коренастого унтерофицера, вошел Хойер. Спасаясь от зловонья, начальник районной полиции брезгливо прикрывал лицо носовым платком.

– Герр капитан, ваше приказание выполнено! – вырвавшись вперед, вытянулся перед ним Матюшин. – Я же говорил: у меня всякий заговорит! В общем, есть выход на Чепракова.

– Я? – Офицер недоверчиво взглянул на него. – Это есть правда?

– Я-я, точно говорю! – засуетился Кондрат, услужливо придвигая кресло.

– Гуд! – Немец отвел руку от носа, повторяя, словно мантру: – Зер гуд! Зер гуд! Ошен, ошен карашо!

– Конечно, гуд! – прошив Сверчка взглядом, полным ненависти, Матюшин угрожающе процедил. – Смотри, собачий потрох, соврешь – удавлю!

И, сжав кулаки, сотряс ими воздух, показывая, как будет душить.

– На гут! Карашо, Матьюшин! Югенд Николаус будет сказать нам правда! – заняв место за столом, офицер обратился к юному партизану:

– Где ест ваш командер?

Смахнув рукавом выступивший от волнения пот на лице, Сверчок быстро произнес, словно опасался, что его перебьют:

– Мне проще показать, господин офицер! Готов лично отвести на место. И если поторопитесь, то сегодня же возьмете сразу двоих командиров.

Растопырив пальцы, капитан удивленно переспросил:

– Цвай командер?..

Минуту спустя он уже знал, что сегодня, ближе к вечеру, Чепраков должен встретиться с руководителем одного из соседних партизанских отрядов.

– Наши готовятся к совместной операции, которую наметили провести через две-три недели, – уточнил юноша.

– Откуда такая информация? – не скрывая

недоверия, поинтересовался офицер через Рюйтеля.

– Случайно подслушал разговор у командирской землянки.

– Точную дату знаете?

– Нет. Операция планируется серьезная. Нужно время, чтобы тщательно подготовиться.

Клаус задумался. Информация арестованного о готовящемся наступлении партизан совпадала с разведданными, полученными штабом. Неизвестной оставалась дата проведения операции. И вот теперь, кажется, что-то стало проясняться. Две-три недели – это достаточный срок, чтобы и самим подготовиться. Тяжелые бои на передовой не позволяли высоким армейским чинам отвлекать воинские подразделения на борьбу с лесными бандитами, и руководство Хойера собиралось упредить атаку партизан своими силами.

В оккупированной Белоруссии с самого начала войны действовали многочисленные разрозненные отряды партизан. Многие из них не желали вливаться в большие соединения, против которых фашистские каратели часто использовали армейские подразделения, вплоть до танков и авиации. На подведомственных этим группам землях продолжали действовать советские законы, что, конечно, не могло устроить немецкое армейское руководство, не желавшее иметь в собственном тылу неконтролируемое население. «Похоже, центром наступления объединенных отрядов партизаны выбрали вверенный мне участок», – решил капитан.

– Где должна произойти встреча ваших командиров? – вернулся он к разговору.

– На Николином хуторе. Отсюда далеко, но если поторопиться...

– Сколько человек может быть с Чепраковым?

– Обычно с собой он берет троих-четверых

бойцов. Чем меньше людей, тем проще скрыть информацию.

– Что за хутор?

– До войны там семья одна жила. Хозяина Николой звали. Сейчас хуторок зачах. О нем мало кто помнит. Я покажу дорогу, если хотите...

Капитану нравилось, как вел себя юноша. Держался он с достоинством, не лебезил, не унижался. Очевидно, был уверен, что предательством сможет заслужить себе право на жизнь. И все же офицера настораживала эта его неожиданная готовность сдать им Чепракова.

С одной стороны, Хойер опасался довериться ему. С другой же, сожалея, что не удалось взять живым руководителя местного подполья, капитан боялся упустить и Чепракова. «Пожалуй, слишком юн, чтобы играть со мной, – решил он наконец. – Одна, всего одна удачная операция – и я в Берлине!»

Прочитав на лице капитана сомнение в своей верности, Сверчок продолжал с большей горячностью:

– Господин офицер, я сделаю все, что прикажете. Сведу вас с Чепраковым. Только у меня будет одна просьба. Если наши узнают, что я их предал, они меня... В общем, я должен быть уверен, что вы защитите меня.

Клаус хорошо знал, как поступали партизаны с предателями. Слова юноши обрадовали его, убедив в том, что ему можно доверять.

Повернувшись к переводчику, офицер приказал:

– Передайте: если будет честен с нами, то Великий рейх сумеет его защитить. Пусть молится за здоровье фюрера!

Обрадовавшись, юноша осмелился высказать еще одну просьбу:

– Господин офицер, я слышал, что полицаям

хорошо платят. Позвольте мне служить вашей Великой Германии. Хочу скопить немного денег для жизни в будущей, новой Белоруссии.

Столь неожиданная просьба юноши рассмешила Хойера, окончательно рассеяв еще сохранявшиеся подозрения в его благонадежности.

– Любишь деньги? – заразив переводчика и унтер-офицера смехом, хохотал капитан.

– Кто же их не любит?! – Юный партизан сделал вид, что смущен. – Деньги все решают!

Хойер поманил стоявшего за его спиной унтер-офицера:

– Берхард, когда покончим с партизанами, устройте этого мальчишку на службу. Пусть помогает по хозяйству. Заодно будет под присмотром.

Уже покидая помещение, капитан остановился в дверях.

– Сколько человек в вашем отряде? – как бы между прочим, поинтересовался он у юноши.

– Около трех десятков, – не задумываясь, ответил Сверчок, умышленно назвав значительно меньшее количество. – Нет, раньше-то больше было, – заметив скепсис на лице офицера, добавил он. – Да только весной вы нас здорово потрепали!

– О, я! Многа, ошен многа партизанен расстреляйт! – согласился с ним офицер, довольный объяснением «ошен кароши югенд Николаус». Он помнил недавнюю весеннюю кампанию, в ходе которой им, действительно, удалось полностью уничтожить несколько небольших отрядов. Операция оказалась успешной благодаря Абверу, сумевшему внедрить своих агентов, завербованных из числа советских военнопленных. – Я, многа! – повторил капитан, покидая в приподнятом настроении зловонный подвал. Он торопился выделить людей для отправки на хутор. Следом за ним

проследовал и Матюшин.

О том, что их отряд в тех боях участия не принимал, Сверчок намеренно умолчал. Федор Иванович Чепраков, за голову которого гитлеровцы назначили крупное денежное вознаграждение, сумел вывести людей из окружения и отвести на одну из запасных баз.

13

Капитан Чепраков неспроста остановил свой выбор на Николае Цвирко и Александре Довгунце, отправляя их на встречу с подпольщиками. Оба юноши были небольшого роста, худощавые, с едва заметной растительностью на лице. Внешне ребята больше походили на подростков, чем на опытных бойцов, поэтому меньше других могли вызвать у гитлеровцев подозрение.

Не дождавшись их возвращения, утром Федор отправил в город разведчиков. К полудню бойцы вернулись, рассказав о перестрелке накануне в районе мельницы и начавшихся вскоре после этого в городе арестах подпольщиков. С собою в лагерь они привели и Лиду Комарову. Девушку случайно обнаружили в лесу неподалеку от городской окраины. Один из бойцов узнал ее.

Чудом избежав ареста, Лида была уверена, что где-то допустила ошибку и немцы охотились именно за ней. О задержании своих товарищей она ничего не знала.

Рабочая смена в столовой начиналась в четыре утра. В обязанности девушки входило мытье посуды и уборка помещений. В то утро, заметив в окно, как во двор въезжает грузовик с немецкими полицейскими, Лида каким-то чувством догадалась, что приехали за ней. Она успела подать знак двум

стряпухам, помогавшим штатному немецкому повару, и пока одна из них отвлекала внимание гитлеровцев, прошмыгнула в самую дальнюю, заставленную ненужными предметами подсобку, где, с трудом втиснувшись в пустое чрево небольшого металлического шкафа, замерла. На ее счастье, валявшийся на полу с измятыми боками и полуоторванной дверкой ящик, в котором раньше хранились сыпучие продукты, подозрений у гитлеровцев не вызвал.

Бегло осмотрев все помещения, немцы уехали, торопясь на задержание других подпольщиков. Лида еще долго не решалась выйти из укрытия, дрожа от страха и беззвучно роняя слезы. Покинуть столовую ей помогли все те же землячки. Пока молодая из них отвлекала разговорами стоявшего у входа дюжего солдата и только что пришедшего на смену немецкого повара, старшая незаметно вывела ее через задний двор.

Домой Лида возвращаться не стала, разумно полагая, что немцы за ней придут и туда. Оставалось пробраться к небольшому лесному массиву, рассыпанному за городом, где и дожидаться ночи. Здесь ее и обнаружили партизаны Чепракова.

– ...Маму с сестренкой жалко! – шмыгая носом и растирая по лицу крупные слезинки, плакала девушка, рассказывая в командирской землянке, какого страху натерпелась.

Сидевший за столом Строжевский, выслушав ее, поднял глаза:

– Как же немцы вышли на тебя? Скобцеву так долго удавалось скрывать организацию, а тут нате, всех сразу повязали! Есть догадки, кто мог вас сдать?

От его пронзительного взгляда и холодного голоса Лида невольно съежилась. Девушка помни-

ла, как однажды в разговоре с ней Сверчок нелестно отозвался о Строжевском.

– Сдать? Вы имеете в виду – предать? – Девушка всплеснула руками. – Никто. – Затем, ненадолго задумавшись, словно перебирала в памяти каждого из известных ей подпольщиков, уверенно повторила: – Из наших – точно, никто!

Подозрения одолевали не только комиссара. В отряде многие предполагали, что городское подполье кто-то выдал. И этот кто-то был из своих. Велев девушке оставаться до вечера в лагере, Чепраков проводил ее до выхода.

– За родных не волнуйся! – успокоил он ее, откидывая в сторону залапанный кусок рогожки, спасавший землянку от вездесущих комаров. – Наши люди успели пройтись по некоторым адресам. К сожалению, не всех удалось предупредить, но твоих успели, так что ожидай. Думаю, ближе к ночи свидитесь.

Заметив неподалеку пожилого человека с густой окладистой бородой, подпиравшего спиной ствол старой осины, Федор Иванович кивнул в его сторону:

– А вот и дед Трофим! Скажи ему спасибо! Это он предупредил твою мать, чтобы уходила из города.

Заметив командира, старик приветливо махнул рукой, продолжая дымить цигаркой.

– Так это же немецкий прихвостень! – возмущенно воскликнула Лида. – Всё сапоги фрицам чистил за кусок мыла, вражина!..

Этого человека она часто видела возле столовой. Одетый в обноски, с вечно всклокоченной, похожей на паклю бородой и большой, не по размеру, шляпой на кудлатой голове старик целыми днями бродил по улицам города с небольшим деревянным ящиком, в котором носил различные инструменты. За понюшку табака, шмат сала или четверть самого-

на он брался за любую работу. Мог починить крышу, подбить сапоги, подправить калитку. Нередко к помощи бывшего механика, разбиравшегося в технике, прибегали и немцы, щедро оплачивавшие его услуги сахарином или тушенкой.

Во дворе столовой Лида не раз видела, с какой готовностью старик бросался ремонтировать их мотоциклы или автомобили. Она ненавидела его. Со свойственной ее юному возрасту прямотой бросала при встрече презрительное: «Пришивала!» Мужчина лишь улыбался в ответ, называл девчушку пустельгой. «Такие люди любой власти служат! – жаловалась она матери. – Еще и оскорбляет, вражина, пустельгой называет». «Пустельга – птичка зоркая, из соколиных будет! – замечала с улыбкой мать и просила, чтобы дочь оставила старика в покое. – Сдался он тебе! Пусть живёт».

Чепраков засмеялся:

– Зря ты так, девочка! Дед Трофим один из наших информаторов. Можно сказать, главных. Несмотря на возраст, глаз у него по-прежнему зоркий. Все подмечает.

Похвала старика из уст неуловимого командира партизан, о котором была наслышана, смутила Лиду.

– И давно он сотрудничает с вами? Небось, узнал, что Красная армия наступает, вот и переметнулся обратно. Иуда! Тушенкоед несчастный!

Чепраков усмехнулся.

– С самого начала с нами, – успокоил ее офицер. – Говорю же: ценный разведчик! А тушенку... тушенку, что выменивал у немцев, нам передавал. – Увидев идущих в их сторону людей, Федор Иванович поторопил девушку: – Ну, иди! Иди к деду...

– Извините, я не знала, что вы с нами! – подойдя ближе к старику, произнесла Лида, зардевшись. –

Столько гадостей наговорила!

Оторвавшись от дерева, дед Трофим поправил на макушке косматой головы широкополую шляпу, вынул изо рта самокрутку, прокашлялся в маленький, высохший, точно глиняный осколок, кулачок:

– Да что уж! Не ты одна. Спасибо, хоть камнями не кидалась. Всяко бывало.

– Вы бы хоть намекнули, что связаны с партизанами! – воскликнула девушка.

Отряхивая со старого, в масляных пятнах вокруг карманов, пиджака осыпавшийся по неосторожности пепел с цигарки, старик ответил с некоторой бравадой в голосе:

– Как же тут скажешь?! Сама понимаешь: дело особой государственной важности! Секретной, стало быть. – Погладив тощей пятерней густую бороду, дед Трофим вдруг заливисто, совсем по-мальчишески рассмеялся: – Ну, что, пустельга глазастая, пошли, что ли? Изголодалась, верно? – Махнув рукой, он призвал девушку идти рядом. – Я тут тушенки немного приволок. Охота мне тебя ею накормить. Народ сказывает, мол, хоть и фашистская, а вполне годится для наших животов. Само я до нее не охоч, а тебя угощу. Что скажешь?

– Я согласна, дедушка! – засмеялась Лида, наконец-то позволив себе расслабиться после стольких тревог...

14

Федор Иванович жестом предложил подошедшим старшему лейтенанту Вовку и двум партизанам из соседнего отряда войти в землянку. Это были люди Тимофея Кручени.

Оказавшись в первые же дни войны в окружении

врага, лейтенант пограничных войск Крученя пытался пробиться с остатками своего взвода к линии фронта. Когда же стало ясно, что гитлеровские части ушли далеко вперед и выйти к своим не удастся, молодой офицер решил бороться в тылу врага. Постепенно его сильно поредевший взвод прирос другими окруженцами и местным населением. К лету сорок четвертого года отряд теперь уже капитана Кручени насчитывал более двухсот хорошо обученных и неплохо оснащенных оружием бойцов. Это была немалая сила, к помощи которой Федор Чепраков, выполняя спецпоручения Москвы, время от времени прибегал.

Приказав стоявшему у входа часовому никого в землянку не пускать, командир задернул за собой рогожку. Разговор намечался особый, не для посторонних ушей. Представив связным Кручени комиссара отряда Строжевского, по-прежнему в задумчивости застывшего в углу землянки, Федор выслушал старшего из них, назвавшегося Михаилом.

Длиннобудылый партизан, с большими, свисавшими до подбородка рыжими усами и лицом, густо усыпанным веснушками, поведал присутствующим об аресте городского сопротивления.

– ...Нескольким подпольщикам удалось добраться до нас. Мы их пока у себя оставили, – заявил Михаил. – Понаблюдаем. Командир думает, что подпольщиков кто-то предал, может, из своих.

Из полученной информации стало известно: на встречу с Цвирко и Довгунцом, кроме руководителя Вадима Скобцева, пошли двадцатилетний Сергей Смирнов и тридцатидвухлетний Владимир Тарасевич. По словам партизана, присутствовавшего при разговоре Кручени с подпольщиками, Смирнов среди товарищей ничем примечательным не выделялся. Был исполнительным, но особой

смекалкой или смелостью не отличался. Тарасевич же, напротив, обладал и тем, и другим. Некоторые операции, удачно проведенные группой Скобцева, были разработаны им лично.

– Правда, на задания Тарасевича не часто брали, – заметил Михаил. – Он эпилепсией страдал. Боялись, что в ответственный момент с ним может приступ случиться.

Выслушав рыжего бойца, Строжевский выдохнул:

– Какая теперь разница, кто чем страдал? Очевидно, что все погибли.

– В этом мы не можем быть уверены на сто процентов, – не согласился с ним Чепраков. – Возможно, кто-то из них попал в плен. Надежда, конечно, слабая, но все же…

Вскочив с места, комиссар нервно заходил по землянке взад-вперед:

– Оставим надежду верующим, Федор Иванович! Мы с тобой люди ответственные, руководящие, и в чудеса верить не имеем права.

– К тому же нам неизвестно, засада это была или ребята случайно напоролись на гитлеровцев, – продолжал Чепраков, не обращая внимания на эмоции своего заместителя. – А что касается предательства…

– Что касается предателя, – прервал его Строжевский, – я так мыслю: если кто-то выжил в перестрелке, того и следует в первую очередь рассматривать в качестве предателя. Разве нет?

– Подозревать товарищей – последнее дело, – посуровел Чепраков. – Так можно и меня в изменники родины записать.

– Обычно свои и предают, – не унимался комиссар. – Времена такие, когда никому нельзя доверять. Даже себе. А уж бывшему…

Строжевский хотел сказать «арестанту», но вовремя остановился, однако глаз от Чепракова не отвел. Чепраков помертвел лицом…

В мае сорок первого года был арестован один из создателей разведывательно-диверсионной службы Красной армии генерал Плотников. Вместе с ним аресту подверглись и некоторые его подчиненные, среди которых оказался и капитан Чепраков. «Предателей», «шпионивших» на одну из иностранных разведок, ожидало суровое наказание, вплоть до расстрела, от которого их спасло нападение фашистской Германии и армейский бог в лице начальника одного из отделов НКВД СССР Павла Судоплатова, отвечавшего за разведку, диверсии и террор в тылу врага.

Кто-то еще помнил о боевом опыте офицера Чепракова, полученном в финскую кампанию. Так бывший капитан, пониженный до звания лейтенанта, был заброшен в немецкий тыл во главе небольшого отряда разведчиков-диверсантов. Чтобы вернуть прежнее звание, у Федора ушло три года партизанских скитаний.

Он хорошо знал, как работает репрессивная машина НКВД. Понимал: в отряде ее представляет комиссар, неосторожным словом выдав, что знает о прошлом командира и, возможно, не до конца доверявший ему…

О болезненной подозрительности Афанасия Петровича Строжевского, в каждом человеке видевшего потенциального шпиона, в отряде знали все. Тем, кто попадал под его подозрение, порою стоило немалых усилий избавиться от них. Заместитель Чепракова по политчасти был скор на расправу. Многие запомнили случай, когда, пользуясь отсутствием командира, Строжевский приказал расстрелять недавно принятого в отряд бойца,

заподозрив в нем вражеского агента. Вернувшись после очередной операции на базу и узнав об этом, Чепраков устроил заму взбучку, впредь запретив в его отсутствие любые судилища. Однако никакого наказания, кроме порицания, комиссар не понес.

В тот раз в отряде удивились столь мягкой реакции командира. Некоторые партизаны открыто, без страха, осудили самоуправство комиссара, назвав его решение самодурством. Досталось и командиру за малодушие.

Строжевский негодовал: «Это что, навет на партийный суд? Партия не ошибается и не потерпит...» Столь громким заявлением Афанасий Петрович навсегда обозначил первостепенную роль компартии в их борьбе, то есть, свою собственную, после чего всем стало ясно – власть командира пошатнулась. «Строжевский из неприкасаемых! Чепраков побаивается его!» – шептались партизаны. Руководивший разведгруппой отряда Виктор Вовк подобные разговоры всячески пресекал. О сложной судьбе командира он знал больше, чем было известно остальным...

Проводив посланцев Кручени до границы лагеря, Федор Иванович протянул рыжеусому Михаилу записку:

– На словах передайте Тимофею, что операцию необходимо провести сегодня, в точно указанное время! Потом может быть поздно. Надеюсь, начальник районной полиции, капитан Хойер, не успел передать подпольщиков в руки гестапо. В этом случае мы будем лишены возможности помочь им. – Немного подумав, офицер добавил: – Понимаю, что времени на подготовку не остается, но другого выхода у нас нет, товарищи.

Воспользовавшись случаем, Чепраков вместе со связными отправлял и Лиду Комарову.

– Можно мне у вас остаться? – робко попросила девушка, узнав об этом. – Я бы могла за медсестру. Должен же кто-то вам перевязки делать!

– Тьфу ты! – сплюнул через плечо Виктор Вовк. – Нет бы о чем-нибудь приятном сказала на прощание.

– Ой, извините! – На лице девушки вспыхнули редкие веснушки.

– Нахождение гражданских лиц в нашем отряде невозможно! – возразил Строжевский. – Здесь без исключений!

Опечалившись отказом, девушка проронила:

– А где можно вашего Сверчка найти? Я весь лагерь обошла, но его нигде нет. Он на задании?

Уловив в голосе девушки тревожные нотки, Чепраков почувствовал, как в горле запершило. Не услышав ответа, Лида заволновалась:

– Он жив?

– На задании, – едва вымолвил командир, махнув на прощание рукой.

Опустив худые плечики, девушка побрела за партизанами Кручени.

Возвращаясь к землянке вместе с Вовком и Строжевским, Федор размышлял. Становилось очевидным, что разработанная им лично и одобренная Москвой операция сводных отрядов по освобождению города от фашистских захватчиков, намеченная на конец недели, под угрозой срыва. Если предатель существует, то ему могут быть известны настоящие сроки.

Об операции знали несколько человек. Последний, кому открылся Чепраков, был Николай Цвирко. Отправляя ребят на задание, он почти не сомневался, что встреча с подпольщиками пройдет гладко, как обычно. Однако на случай их ареста у командира была припасена одна старая заготовка,

которая могла спасти им жизни.

Старшему из ребят, Коле Цвирко, было предложено вступить с гитлеровцами в игру. Для большей убедительности потянув немного время, он, под страхом смерти, должен был «согласиться» на сотрудничество с немцами и «выдать» дату начала операции, естественно, изменив ее. Для того, чтобы поверили в его искренность, еще и «предать» своего командира, за голову которого фашисты давно назначили значительную сумму. «Выжил ли кто из ребят?» – мучился вопросом капитан.

Был только один способ узнать об этом – отправить людей на дальний хутор. Взглянув на часы, Чепраков покачал головой: времени до начала главной операции оставалось немного!

– Виктор! – он повернулся к начальнику разведгруппы отряда. – Отбери бойцов и немедленно выступайте к Николиному хутору!

– Ты что-то задумал, Федор Иванович? – сравнялся с ним Строжевский. – Поделишься мыслями?

Желая хоть на время избавиться от общества своего зама, Чепраков, все еще чувствуя в душе осадок от их последнего разговора, сухо проговорил:

– Вам, Афанасий Петрович, предлагаю возглавить группу! Выдвигаетесь ровно через четверть часа. Инструкции получите вместе со старшим лейтенантом Вовком.

Строжевский в замешательстве остановился:

– Куда это мы должны идти? К какому еще хутору? – Голос комиссара задрожал. – Нам же вечером город брать!

Плечом отодвинув его с дороги, Федор спустился в землянку. Открываться до времени он никому не хотел.

15

Оказавшись на улице, Клаус с наслаждением вдохнул свежий воздух. Большую часть ночи и полдня он провел на ногах и теперь чувствовал себя уставшим. Отправив унтер-офицера и переводчика отдыхать, капитан в сопровождении Матюшина направился к ожидавшему его автомобилю.

Велев водителю оставаться снаружи, Хойер уселся на заднее сиденье, приглашая вицефельдфебеля занять место рядом с собой.

– Ну, Матьюшин, как ест наши дела? – С наслаждением расслабляя все члены, офицер повернулся к подчиненному. – Что ест для менья?

Кондрат с трудом протиснулся в узкий салон «Мерседеса».

– К сожалению, в этот раз ничего особо интересного нет, господин капитан! Нынче не так много перепадает, как прежде бывало.

Суетливо достав из внутреннего кармана кителя крохотный пакетик, полицай вложил его в руку Хойера. Выказывая явное недовольство, тот вытаращил глаза:

– Матьюшин, я думайт, что ви мения обманивайт!

– Как можно, господин капитан! – мысленно посылая немца куда подальше, Кондрат сделал вид, что огорчен его недоверием. С каким же удовольствием он размозжил бы сейчас этому колбаснику череп, будь у него такая возможность. – Обижаете, господин капитан! Мы ведь с вами не разлей вода. В одной упряжке, так сказать.

Величественно подбоченившись, гитлеровец, словно демонстрируя свое превосходство, произнес:

– Я отправляйт вас на фронт! Там вас болшевик будет шисен!

И вновь Кондрату пришлось делать вид, что обеспокоен его заявлением.

– Не надо на фронт, герр Хойер! Не надо меня шисен!

Нет, он больше не боялся немца. Ненавидел. Всех гитлеровцев ненавидел вместе с их фюрером, чьи истеричные выступления часто транслировались по радио. Ненавидел за то, что ошибся в своих ожиданиях. В нем говорила обида. Человеку свойственно личные обиды переносить на ненависть к другим, кто успешнее, богаче, знаменитее, или, как в этом случае, не оправдал надежд. Фашистская Германия не оправдала. Еще совсем недавно этот гнус в выглаженном мундире и в белой накрахмаленной сорочке называл его «майне руссишен геноссе», а теперь грозится отправить на фронт. «Ну и сука ты, капитан! Фашист, одним словом! Нет, мы никогда не станем вам ровней! Так и останемся недочеловеками, которым и жить-то разрешено с оглядкой».

Кондрат жалел, что не мог уйти от гитлеровцев немедленно. Прежде чем решиться на побег, план которого вынашивал последние дни, необходимо было все тщательно продумать и подготовиться. В случае провала немцы расстреляют как дезертира. Их спецслужбы по-прежнему хорошо выполняли свою работу. А после ужесточения устава для полицейских из шуцманшафта, связанного с участившимся бегством из частей, они не особо церемонились с «аскари». С другой стороны, если опоздать, то можно угодить в лапы партизан или сотрудников СМЕРШа. Тут уж точно – не жди пощады…

Мысль оставить службу Матюшину подкинул знакомый староста из приграничного с Литвой села, Спиридон Лукашевич. Как-то раз они сидели во дворе районной комендатуры в ожидании

расширенного собрания, на которое пригласили всех старост и командиров взводов. Знакомы Кондрат со Спиридоном были чуть больше года и испытывали друг к другу определенное уважение и доверие. От природы малоразговорчивый, Лукашевич нравился Кондрату своими редкими, тщательно взвешенными суждениями. К гитлеровцам староста симпатии не испытывал. Но и Советскую власть не любил. О причине этого никогда не рассказывал.

– Бечь надо от этих паршивцев, – дымя самокруткой, молвил Спиридон, бросая исподлобья колючий взгляд на снующих мимо немецких солдат. Слова староста произносил медленно, словно каждое тщательно прожевывал. – Чую, не долго колбасники протянут, побегут скоро к своим фрау. Мы им нужны, покамест здесь находятся. После оставят за ненадобностью, как щенков беспородных. Или, чего хуже, вывезут к яру да постреляют из пулеметов – и дело с концом.

– С чего это им нас убивать? – насторожился Матюшин.

Сгорбившись, пятидесятилетний Лукашевич, выглядевший на все семьдесят, бросил оплеванный окурок себе под ноги.

– А с того, мил человек, – перешел он на шепот, – что мы с тобой есть живые свидетели их преступлений. Самые, что ни на есть, прямые участники всех кровавых делишек.

Кондрат завращал глазами: не подслушивает ли кто, выдавил из груди:

– Прав ты, Спиридон. И я так само мыслю. Проиграют они войну.

– Уже проигрывают. Вот и говорю: надо бечь! – скрипнув зубами, Лукашевич придвинулся ближе. – Нам с тобой, Кондратий, один путь уготован – до

самой смерти ховаться. – Никому не говорил, а тебе скажу по секрету: скумекал я, что надо к соседям подаваться, в Литву. Знающие люди поговаривают: прибалты в землю закапываются.

– Это как, заживо, что ли? – озадачился Кондрат.

– Тьфу ты, скажешь тоже! – староста осенил себя широким крестом. – Литваки в лесах схроны всякие да подземелья мостырят. К долгому противостоянию против Советов готовятся. – Тронув поясницу, Спиридон удрученно покачал головой. – Не знаю, выдюжу ли сырости земляной. Ревматизьма замучила, мочи нет. Спасаюсь горячим утюгом да тертой редькой. Но, думаю, все одно буду туда подаваться, если что.

Кондрат передернул плечами:

– А смысл прятаться всю жизнь в лесах?

– Кто захочет – продолжит дальше воевать с красными, а кто нет – неволить, вроде как, не будут. Отсижусь малехонько, а там будем поглядать, как оно сложится. Обещают помочь с новыми документами. С ними куда хошь гуляй. Знаю одно: в лесу не останусь.

Кондрат покачал головой:

– И я не вижу смысла дальше воевать. Если уж германская военная махина не может одолеть московитов, куда этим землеройкам справиться?

Свернув вторую самокрутку, Лукашевич сдунул с шершавой ладони остатки табака, не забывая сопровождать взглядом солдат и унтер-офицеров.

– Немцы по своей самонадеянности не могут победить, – обронил он, все так же, не повышая голоса. – Великая в этом народе сидит гордыня, скажу тебе. Они ведь как рассуждали?! Русский военный сапог иссохнет, изорвется, расползется по швам, а только не учли, что нет тому сапогу износу. Из железа он, выходит. Думали: устал, дескать,

народ от большевизма, колхозов и прочего, и стоит им только границу перейти, как тут же все сдадутся на милость победителей. А оно вишь, как обернулось. Народ не за власть воюет, хотя и это, как видно, есть. Люди за землю свою борются…

Кондрат с понурой головой молча внимал словам Спиридона.

– Германцы от восторга первых побед захлебнулись собственной слюной, – продолжал староста шамкать редкозубым ртом. – За последние годы большевики в военном плане дюже силушку набрали. Поговаривают, что англичанам с американцами это не нравится. Не хотят они, чтобы Советы сильны были. Немцы не дураки и это дело просекли. В общем, разговоры среди них ходят, что если война закончится поражением Германии, то союзники тут же нападут на СССР. Время самое подходящее. Страна в разрухе и еще не скоро очухается. – Лукашевич замолчал, словно давал собеседнику время осмыслить услышанное. Лишь докурив очередную самокрутку, продолжил: – Есть у меня на литовском приграничье человек один. Служит у немцев в особой части по борьбе с партизанами. Они там много чего знают. Рассказывал, что Абвер усиленно готовит агентов для дальнейшей работы на советской территории. Догадываешься, для кого?

Кондрат знал, что время от времени гестапо устраивало проверку местным полицейским, выявляя среди них тайных пособников партизан. Он давно разучился доверять людям, и сейчас, слушая Спиридона, силился понять, не провокатор ли перед ним. Очень уж неправдоподобную картину рисовал ему староста.

– Для союзников Сталина, что ли? – скривил он губы. – Не думаю. Черчилль с Рузвельтом в одной

упряжке с ним.

Их диалог неожиданно прервал появившийся на площадке перед входом офицер, приглашавший всех собравшихся пройти внутрь.

– Не может лошадь идти в одной упряжи с ослом! – философски заметил Лукашевич, покидая лавку.

– И кто лошадь, а кто осёл? – поднялся следом Кондрат.

Ответа он не услышал.

16

Отправив к Николиному хутору обер-лейтенанта Витке с тремя десятками солдат полевой жандармерии и двумя отделениями из взвода Матюшина, капитан Хойер в ожидании хороших новостей поднялся в свой кабинет. Если верить юному арестанту, изъявившему желание служить рейху, этого количества людей вполне было достаточно, чтобы обезвредить десяток партизан.

Приказав адъютанту принести кофе, офицер сел за стол и принялся составлять подробный доклад для своего штабного начальства, в котором в красках сообщал о раскрытии в городе большого бандитского подполья и проводимом им в эти минуты спецрейде с целью захвата или уничтожения сразу двух известных партизанских командиров. Ставил он высшее руководство в известность и о планируемом ими в ближайшие две-три недели крупномасштабном наступлении. Одного не знал Клаус Хойер: операция партизан уже началась...

Не желая спугнуть неприятеля звуком моторов, обер-лейтенант Витке приказал оставить автотранспорт на старой проселочной дороге вдали от хутора и дальше идти пешком. Остановились в

пятистах метрах от замеченного в бинокль подворья – старого домика на опушке с двумя покосившимися сараями и открытым загоном для скота. Какого-либо движения рядом замечено не было. Немного подумав, Витке отправил к строениям несколько человек осмотреться на месте. Остальным было приказано соблюдать тишину.

На всякий случай Матюшин велел двум подручным связать Сверчка и вставить в рот кляп. Жалкий вид юноши вызвал едкие насмешки у полицаев.

– Будьте внимательны! – потребовал вице-фельдфебель. – Чепраковцы осторожны. Учуют что – вмиг скроются.

Исподволь наблюдавший всю дорогу сюда за Сверчком Власенко подошел к Матюшину.

– Слышь, Кондрат, не нравится мне этот сталинский выкормыш! – кивком головы показал он на юношу. – Чую, мутит что-то. Я еще на допросе это почуял.

Присев на поваленный замшелый ствол осины, Матюшин оторвал травинку, кинул в угол рта:

– Чую-чую! – передразнил он. – Чем не нравится-то?

– Не знаю. Нутро подсказывает.

– Поганое у тебя нутро, Василь! – хохотнул Кондрат. – А чего раньше молчал?

– Вот, сейчас говорю. Надо в город возвращаться. Там спокойнее будет.

Глянув на связанного паренька, командир взвода усмехнулся:

– Думаешь, обманывает? Да ты погляди на него, он же совсем еще пацан! Смотри, как дрожит! Вишь, как напуган? Жить хочет.

Василий безнадежно махнул рукой, отступая в сторонку:

– Смотри, тебе видней.

Сплюнув травинку, Матюшин нехотя поднялся.

– Ладно, будь начеку. – Интуиция Власенко не раз выручала их, и сейчас его тревога передалась Кондрату. – Если что не так – уйдем по-тихому, – шепнул он.

Стоявший неподалеку Богдан Тыква, слышавший часть их разговора, злорадно ухмыльнувшись, вынул из висевших на поясе ножен длинный клинок и ломаной походкой блатаря подошел к Власенко.

– Васыль, та ты нэ мандражуй! – заглядывая ему в глаза снизу вверх, прошамкал он. – Колысь ций безродный пес сбрехав, так ми його зараз на куски порвемо, як вовчара овцю!

Кроме белорусов, во взводе Матюшина служило немало украинцев. Небольшого роста, тощий, с впалыми щеками и лихорадочно блестевшими глазами, Тыква считался самым жестоким среди всех.

Угрожающе надвинувшись грудью, Василий отодвинул его в сторону:

– Ты, херой, попервой зубы отрасти, чтобы было чем рвать! – проворчал полицай, намекая на неровные ряды полусгнивших зубов украинца...

Кондрат с опаской глядел на них. Никто и никогда не мог предугадать, какую подлость способен был совершить неуравновешенный Тыква в следующую минуту. Он и сам его остерегался. Не боялся украинца только Власенко. Двухметровый крепыш, значительно превосходивший силой самого Матюшина, любого из взвода мог легко припечатать к земле.

– И нож спрячь! С перышком-то любой дурачок справится с безоружным.

Осклабившись, Богдан всем своим видом силился показать окружающим, что не страшится его.

– «Дурачка» я тоби, Василёк, прощаю, а насчет ножичка нэ кажи. Нэ кажный може управитися с таким. Я цей штукенцией любого ухайдакаю, хучь хиляка, а хучь и здоровяка.

Пропустив намек в свой адрес, Василий сплюнул под ноги и демонстративно отвернулся. Не в его характере было задираться.

Такое пренебрежение к себе Тыква оставить без внимания не мог. Неожиданно подскочив к связанному юноше, полицай схватил его за грудки, рывком притянул к себе и с силой нанес удар сапогом по голени.

От боли, пронизавшей все тело, в глазах Сверчка помутнело. Не устояв на ногах, он повалился на землю, больно ударившись плечом о корягу. В следующее мгновение сапог Тыквы навис над его головой, но опуститься не успел. Подскочивший Матюшин резко одернул подчиненного за плечо:

– Охолонь, голытьба! Еще убьешь.

– А хучь и подохнэ, так шо? Им усим мисто у диавола! – вскипел Богдан, недовольный тем, что помешали.

– Не боишься? Вот дам ему винтовку, он тебя из нее и грохнет.

– С чого это?

– А с того! Хойер его во взвод принял. С тобой служить будет, а ты его сапожищем.

Поднятый ими шум привлек внимание оберлейтенанта. Брезгливо поморщившись – что взять с этих дикарей? – Витке подал знак, чтобы сохраняли тишину.

Спрятав нож, Тыква подошел к Власенко.

– Слышь, братку, Матюшин каже, шо цей вурдалак к нам подався, чи шо?

– Подался. С нами служить хочет. А тебе что от того?

Лоб украинца сложился в одну глубокую морщину:

– Та нэ можна же такому быть! Я тэж, як и ты, чую, шо цей партизан бреше! Дуже мени хочется дати йому по харе. – Во взводе все знали: Тыква люто ненавидит партизан. Причиной тому была смерть от рук украинских антифашистов его отца и старшего брата, служивших полицейскими во Львове. – И шо за треба була таскаться з ным в таке гибло мисто? Тут едных комарьёв стильки, шо не боже ж мий! – заскулил полицай, уворачиваясь от накрывших их насекомых. – Цию вражину треба було ще там убиты, у подва...

Плотный обстрел из стрелкового оружия, неожиданно нарушив лесную тишину, оборвал Тыкву на полуслове. Неприятель, врасплох застигнутый партизанами, заметавшись, бросился врассыпную. Немногие успели открыть ответный огонь.

Услышав выстрелы, Сверчок стал отползать под куст, и в это время кто-то тяжелый навалился на его плечи. Через секунду веревка, стягивавшая руки за спиной, ослабла.

– Жив, унучек? А я знав! – услышал юноша знакомый до последней трещинки голос деда Захара.

– Жив, деда, жив! Как же я рад тебе! – обмяк он в объятиях своего спасителя и тут же встрепенулся: – На хуторе немцы! Надо наших предупредить!

– Та знаем. Мы за вами давно наблюдаем.

Вырвавшись из рук старика, Сверчок подхватил карабин убитого Тыквы.

– Я за Матюшиным! – успел он крикнуть прежде чем скрылся за деревьями.

17

Оставив больше половины людей убитыми, неприятель разбежался по лесу. Времени на преследование немногих уцелевших гитлеровцев не оставалось. Не найдя куда-то запропастившегося в разгар боя комиссара, официально назначенного Чепраковым руководителем, старший лейтенант Вовк приказал бойцам собрать трофейное оружие.

Получив доклад, что среди партизан убитых нет, а двое легкораненых возвращаться в лагерь отказываются, Виктор уже собирался дать команду выдвигаться навстречу основной группе. В это время из чащи на поляну выскочил Строжевский, рядом с которым возвышался рослый боец Грушин. Чуть сзади них, слегка припадая на левую ногу, шел еще один человек с винтовкой в руках. Вовк не сразу узнал в нем Николая Цвирко. Обрадовавшись, офицер бросился навстречу и принял паренька в объятия.

– Гляжу, досталось тебе? Издали и не признал! – воскликнул он, разглядывая отекшее от побоев лицо юноши.

– Да, угостили на славу! На всю жизнь запомню, – вымучил улыбку Сверчок.

– Ну, были бы зубы целы, а лицо…

– А лицо краше прежнего будет! – вынырнул из-за спины Вовка дед Захар. – Девкам на радость, хлопцам на зависть!

Коротко доложив о засаде, в которую попали у мельницы, юноша поведал о смерти Довгунца и подпольщиков.

– Сам видел их мертвыми? – стал уточнять Вовк.

Сверчок утвердительно кивнул.

– Сашку на моих глазах застрелили. Тела остальных заметил, когда меня к машине тащили.

Рядышком на земле лежали. Трое. Не знаю, может, их больше было?

– Трое и было, – опустил голову офицер.

Собравшиеся к этому времени вокруг них партизаны стали наперебой поздравлять вырвавшегося из фашистских лап боевого товарища:

– Рады, что удалось в живых остаться! Тебе теперь за двоих жить, Коля: за себя и Сашку!..

– Рано радоваться! – возвысил голос Строжевский. Все это время он не сводил серых внимательных глаз со Сверчка. – Вы почему здесь? – вдруг обратился он к нему.

Радуясь своему спасению и встрече с друзьями, юноша улыбнулся:

– Где же мне еще быть?

– Вы сюда с гитлеровцами пришли?

– С ними.

– И с немецкой винтовкой в руках?

Сверчок утвердительно кивнул:

– Я ее только что подобрал!

– Подтверждаю! При мне это было, – сощурил глаз дед Захар, первым догадавшись, к чему клонит комиссар.

– А убегали зачем? – продолжал Строжевский.

Все еще удивляясь странным вопросам, посыпавшимся на него, юноша пожал плечами:

– Я не убегал! За полицаями погнался!

Повернувшись к старшему лейтенанту Вовку, заместитель командира по политчасти не стал скрывать своего подозрения:

– Убегал-убегал! Без оглядки! Ясно, что хотел скрыться. Мы его еле догнали. Так ведь, Грушин?

Под строгим взглядом комиссара, стоявший рядом со Сверчком партизан растерянно заморгал:

– Да я... не знаю... окликнули пару раз... может, не слышал? Стреляли же вокруг!..

Смерив его презрительным взглядом, Строжевский снова обратился к Цвирко:

– Еще раз спрашиваю: почему вы здесь?

– Выполнял приказ командира! – нахмурился молодой человек.

– Вам было велено идти к мельнице. Как вы оказались у хутора с фашистами?

Желая оградить Сверчка от каких-либо подозрений комиссара, показавшихся ему нелепыми, старший лейтенант Вовк демонстративно постучал по циферблату наручных часов:

– Афанасий Петрович, оставим это! Время не терпит.

Однако Строжевский отступать не собирался, решительно заявив:

– Мы не тронемся с места, пока не установим, как и почему Цвирко оказался здесь вместе с гитлеровцами!

Лицо молодого партизана повело нервной судорогой:

– Я же сказал: выполнял поручение Федора Ивановича! Вы должны быть в курсе, раз пришли сюда.

Но он ошибался. Уверенный в том, что связные вернутся с задания, капитан Чепраков не стал сообщать своим замам о придуманном им плане. Он и сейчас, отправляя их к Николиному хутору, все подходы к которому партизаны давно и хорошо изучили, не стал вдаваться в подробности. Лишь предупредил, что если Сверчок с Довгунцом живы, то, возможно, появятся здесь.

По-прежнему недоверчиво ощупывая Цвирко взглядом, Строжевский вымолвил:

– Поскольку капитан Чепраков не может подтвердить ваши слова, я задерживаю вас до выяснения всех обстоятельств! – Не терпящим возраже-

ния тоном, он отдал распоряжение: – Боец Грушин, заберите у Цвирко оружие и препроводите его в лагерь!

Не успев порадоваться спасению товарища, стоявшие рядом партизаны переглянулись. Первым не выдержал дед Захар. Выступив вперед, он загородил собою Сверчка:

– Это за что же его под конвой-то? – возмутился старик.

Рядом стал коренастый Андрусенко. До войны этот тридцатилетний крепыш, обладавший неимоверной физической силой, занимался в цирке силовым жонглированием. Зловещая ухмылка пробежала по губам мужчины:

– А что происходит, Афанасий Петрович? Это же Коля! Наш Коля!

Еще несколько человек, громко выражая свое недовольство, взяли Сверчка в защитное кольцо. В напряженных лицах партизан таилась угроза. Смелость покинула Строжевского. Он хорошо знал: на войне всякое случается. Бывает, и пуля прилетает в спину. Заметив в его глазах растерянность, Вовк решительно поднял руку, призывая всех успокоиться.

– Я полагаю: товарищ комиссар имел в виду совсем другое! – пришел он на выручку заместителю командира. – Бойцу Цвирко необходимо отдохнуть! Именно с этой целью мы отсылаем его на базу. – Офицер скосил глаз на политработника. – Так ведь, Афанасий Петрович?

Немного потоптавшись, Строжевский неохотно согласился.

– И пойдет он с Захаром Петровичем! – добавил Вовк. – А Грушин нам в другом месте нужен будет.

Последние слова также были адресованы комиссару.

– Есть! – с явным облегчением выдохнул долговязый Грушин, не желавший выступать в роли конвоира своего же товарища. Дружески подмигнув Сверчку, он тут же юркнул за спины партизан, точно опасался, что начальство передумает.

– Есть, отвести внучка на базу! – охотно вторил ему дед Захар. – Доставим в наилучшем виде!

И снова Строжевскому пришлось согласиться.

– Как угодно, – махнул он рукой.

– Угодно! – бросил Вовк, давая знак всем выдвигаться.

– Товарищ старший лейтенант, можно мне с вами? – взмолился Коля Цвирко. – Мы так долго охотились за Матюшиным... Кажется, я знаю, куда он может направиться. Разрешите мне с вами! – повторил он.

Задетый за самолюбие комиссар нервно прошипел:

– Матюшина и без вас поймают! – и, обращаясь к старику Степаненко, злобно добавил: – Не задерживайтесь! Выполняйте приказ офицера!..

Группа Чепракова считалась боевой армейской единицей, в которой должность политработника была обязательной. Строжевский был третьим по счету комиссаром в их отряде. Первые двое – молодые, отчаянно-дерзкие, рвались в открытую схватку с врагом. В боях оба и полегли один за другим. После этого в отряде некоторое время не было политрука. Чепраков отказывался от гражданских лиц. Просил прислать боевого офицера. Главный штаб партизанского сопротивления решил по-своему и направил к нему Афанасия Петровича Строжевского, бывшего вторым секретарем одного из райкомов.

Новый комиссар являл собой полную противо-

положность своим предшественникам. Сам он редко принимал участие в операциях. Считал, что его удел – политическое просвещение малограмотных партизан. Если же и приходилось совершать вылазки с группами, то держался сзади, оправдывая это тем, что так проще проследить за выполнением поставленной задачи. Партизаны втайне подшучивали над трусостью заместителя командира по политработе.

Как ни старался, но за время, что находился в отряде, Афанасий Строжевский так и не сумел вызвать у бойцов уважение к себе, подобное тому, что имели боевые офицеры, Чепраков с Вовком. Пропахшие пороховой гарью, впитавшие от земли бесстрашие в борьбе с фашистами, бойцы видели в нем обычного партийного функционера, а не военного, с погонами старшего лейтенанта. Многих вчерашних крестьян и рабочих его должность настораживала. Новый комиссар часто подчеркивал исключительную роль компартии, как в тылу, так и на войне. Этим он словно ставил себя в особое положение.

Подбирая в отряд новых бойцов, Федор Чепраков делал упор на военных. Но если в начале войны было немало тех, кто выходил из окружения, то со временем пришлось брать и гражданских. В вопросах дисциплины последние были не столь осмотрительны, как военные. Нередко позволяли себе открыто и жестко критиковать центральные власти, то не сумевшие вовремя остановить продвижение фашистов, то запаздывавшие с обеспечением боеприпасами и медикаментами. До появления в отряде Строжевского Чепраков старался не замечать этих разговоров. Теперь же всячески пресекал их. Боялся. Не за себя, за своих бойцов. Знал, к чему могут привести неосторожные слова в адрес цент-

рального правительства и компартии.

Но капитан Чепраков не догадывался о главном: новый комиссар метил на его место.

Афанасий Строжевский понимал, что война рано или поздно закончится. О роли комиссаров на фронте народ вскоре забудет. Хорошего же командира будут помнить всегда. Дослужись он сейчас до руководителя боевого отряда, и в будущем это могло бы послужить хорошим трамплином в карьерном росте.

Быть военным Афанасий никогда не мечтал. Война – это всегда опасно. Карьеру собирался построить на ином поприще. Впервые о своем будущем задумался в старших классах после прочтения небольшой заметки в одной из областных газет. В ней автор рассказывал о жизненном пути известного хозяйственника, Лазаря Моисеевича Кагановича, который из простого малограмотного паренька, родившегося в глухой украинской провинции, быстро дорос до видного советского деятеля. Афанасий решил идти тем же путем. Получив экономическое образование, юноша успешно окончил и партийную школу, где готовили агитаторов и районных руководителей. Работать он начинал в одном из отделов Министерства сельского хозяйства республики, а через два года был назначен вторым секретарем райкома партии. Правда, далеко от столицы, но это Афанасия совсем не смущало. Многие функционеры начинали выстраивать карьеру с периферии…

18

Дождавшись, когда отряд скроется из виду, дед Захар закинул автомат за плечо, тронул молчавшего юношу за руку:

– Ну, што, малой, в путь-дорожку? Ходить нам треба далёко!

– Вот и ходи сам!

Сверчок устало опустился на землю. После ударов пудовыми кулаками Матюшина сильно болела голова.

Вынув из-за пазухи обрез старого пятизарядного кавалерийского карабина, столь же древнего, как и сам, Захар Петрович протянул его пареньку:

– Держи, малой! В нонешнее время шастать по лесам без оружия нельзя. Обратная дорога осторожности потребует.

Приняв обрез, юноша горько усмехнулся:

– Деда, рискуешь, доверяя огнестрел арестованному!

Старик недовольно зашевелил усами:

– Та не ной! Який же ты арестованный? Так, временно задержанный. Сказано же – до выяснения!

Сверчок не скрывал обиды:

– Ославили! На весь отряд ославили. Спасибо, хоть не связали. Выходит, вышел боец Цвирко из доверия? Как же так, дед Захар?

Притулившись спиной к старой березе, старик вытянул из внутреннего кармана потертой цигейковой безрукавки кисет, высыпал на шершавую ладонь щепотку табаку.

– А как хошь, так и понимай, – отмахнулся он. – Война идет! Нынче всякий под подозрением ходит. Вона, сколь предателей-то развелось. Людишки совесть продают, что семечку на базаре – рупь за куль.

Приказ политрука задержать Цвирко «до выяснения некоторых обстоятельств» вызвал у него резкий протест. Однако, немного поразмыслив, Захар Петрович нашел его решению оправдание. В

последнее время гитлеровцы значительно активизировали свои действия против партизан. Очевидно, это было продиктовано наступлением Красной армии и все более возрастающей активностью местного населения. За короткое время фашистам удалось уничтожить несколько отрядов, что не могло не породить слухи о действующих в партизанской среде агентах Абвера.

Случай у мельницы вселил и в деда Захара холодок недоверия. Чувство это, мерзкое по своей природе, росло с каждой затяжкой и царапало грудь. Рассеяв рукой табачный дым, он стал по памяти перебирать лица партизан, особенно тех, кто недавно появился в отряде, но все они казались ему людьми достойными. В душе закралось подозрение: «А вдруг это Коля сболтнул что лишнее немцам! Молод ведь! Мог и испугаться, смалодушничать».

Захар Петрович подумал, что и командир в последнее время стал проявлять недоверие к своим подчиненным. Наблюдательный старик заметил: Федор Иванович уже не столь открыт с ними, как прежде.

– Ты, Сверчок, на Афанасия Петровича особливо не серчай, – глянув на отвернувшегося юношу, пыхнул дымом старик. – К примеру, останься в живых Санёк, комиссар и его бы заподозрил. Должность у него такая, в каждом из нас сумневаться. Пока до правды не докопается – не успокоится.

– Какой правды? – Сверчок поправил обрез на коленях.

Прищурив один глаз, в который упорно лез табачный дым, старик сплюнул горькую слюну в сторону:

– Якой правды, говоришь? А у каждого вона своя! Знавал я до войны одного партийца. Ох, и много же народу сгубил этот человечишко! Не дай

бог, каким подозрительным был. Всё доносы строчил направо и налево, выродок. Ради правды, говорил. А тока и сам в конце плохо кончил. Приперли его чекисты к стене за вредительство да и пустили пулю в затылок. Ну, или в лоб, куда они их там пускают, грэць их мае. Вот и получается, што правда у кажного своя. И часто вона кривдой становится, када наружу выходит.

Сверчок с изумлением взирал на него:

– Так о какой правде ты говоришь, деда?

– А хто ее знает, какая она всамделишная?! Я же кажу: у тебя, к примеру, своя, а у комиссара – евоная...

– Ты мне что, тоже не доверяешь? Подозреваешь в чем-то?

Пропуская его вопрос мимо ушей, старик продолжал:

– Афанасий Петрович, конешна, человек по характеру неприятный, а все же понятие о справедливости имеет. Я в том лично убедился. Давеча подошел, сказал, што, мол, неправ был насчет моих царских наград. – Повернувшись всем фронтом, дед Захар распахнул рот в широкой улыбке. – Представляешь, оказывается еще в прошлом годе сам Сталин особый указ издал! По нему всем, кто имеет Георгиевские кресты, разрешено их носить наравне с современными наградами. Такая вот история.

– Причем тут твои кресты? Достал ими уже всех до печенки! – выпалил в сердцах Николай.

Захар Петрович не ожидал столь негативной реакции от своего любимчика. Утопив голову в плечи, словно удар получил, он вдруг часто-часто заморгал:

– Ужель достал? Вона как!

– Да, достал! Меня в измене подозревают, а ты

про свои дурацкие награды...

– Дурацкие?

Минуты две оба молчали, глядя в разные стороны. Опустив голову, старик обиженно сопел.

– Зря ты так, – наконец вымолвил он еле слышно. – Видит бог, сомнений в тебе я не имею. А в лагерь веду, чтобы отошел немного. Вона, как рожа-то оплыла, мать родная не узнает.

В каждом сказанном им слове сквозила горечь. Взглянув на согбенную фигуру старика, Коля пожалел о своей несдержанности, но извиняться не стал, только вымолвил:

– Рожа – не душа, пройдет!

– Душа – понятие библейское! Помолишься – отпустит, – философски заметил старый казак, распрямляясь в плечах. Долго обижаться он не мог. Понимал, как тяжело юноше. – Ну, коли не болит, будемо собираться в путь-дорогу. Приидем на мисто, отдохнешь, горяченького похлебаешь, глядишь и успокоишься, пока наши город брать будут.

Сверчок встрепенулся:

– Они что, в город пошли? Почему сегодня? Вроде планировали к концу недели.

Со слов деда Захара было несколько причин, заставивших партизан именно сегодня идти на штурм немецкого гарнизона. Главная из них возникла внезапно, когда стало известно, что гитлеровцы схватили подпольщиков. Их необходимо было освободить до передачи в руки гестапо. Вторая причина имела политический окрас.

– День-то завтра какой, помнишь?

– Обыкновенный, какой?!

– Э, нет, – старик покачал головой. – Завтра двадцать второе июня, день начала войны. Вот и порешили наверху приурочить освобождение города к этой дате.

– Фашистов в городе много! Боюсь, нашим трудно будет, – забеспокоился Сверчок.

– Так и наши не одни! Федор Иваныч к операции подключил отряды Кручени и Бакулева. Сказал, што и армейские подразделения вот-вот выступят. Мы для них навроде как коридор прорубаем.

Немногочисленный отряд бывшего председателя одного из колхозов, Тараса Бакулева, состоял из жителей соседних деревень. Партизанили крестьяне давно, но сливаться с другими отрядами не желали. Бойцы Чепракова и Тимофея Кручени не раз их выручали. Настала очередь и бакулевцам их поддержать. Сверчок занервничал. В такой ответственный момент он хотел быть вместе с товарищами.

– Значит, пока я под конвоем буду «отдыхать» да бульбу жрать, мужики немца погонят?

Захар Петрович недовольно засопел:

– Ну, под яким конвоем, што ты мелешь? Стал бы я тоби оружие давать?!

Сверчок вскочил на ноги, выдохнул злобно:

– Я в лагерь не пойду! И ты меня, деда, не останавливай. Если Матюшин сбежит, я не прощу этого ни себе, ни тебе. Счеты у меня с ним. Личные. Понял?

Сердце Захара Петровича сжалось, когда он смотрел на отекшее, в синяках, лицо паренька:

– Ну, куды тоби? Казали же: Матюшина хлопцы сами достанут. К этому животному вымеску у всех нас счеты имеются.

– Дело не только в Матюшине, будь он проклят. Лида у гитлеровцев. Я ее голос слышал.

– Э, нет! Тут ты шибко ошибаешься, – радостно воскликнул дед Захар. – Мы твою Лиду в отряд Кручени переправили. Ее наши разведчики привели.

– Как? Жива, здорова? – обрадовался Сверчок.

– Спрашивала за тебя. Трошки даже всплакнула,

колы подумала, што ты того... Да мы и сами так думали, – признался Захар Петрович. – Ну, останешься? Дивчину свою повидаешь, а?

– Нет, пойду, – решительно объявил Коля. – Не должен Матюшин уйти. И я, кажется, знаю, куда он навострился.

– Ходи со мною до базы, Сверчок, – стал настаивать дед Захар. – Ходи. Мисто мы сменили, сам ты його нэ сыщешь.

– Жив останусь – встретимся на старом месте...

За время их тесного общения дед Захар хорошо изучил характер паренька. Видя решимость в его глазах и понимая, что уговорить не удастся, старый казак достал из-за голенища свой любимый пластунский нож, быстрым коротким движением руки бросил к ногам юноши.

– Бери, пригодится! Я и сам бы пошел, да рази за тобой угонишься. Гляди там, осторожничай! – попросил он. – Зазря не рискуй, ни к чему это.

Сверчок поднял вонзившийся острием в землю у самого кирзача клинок, стер с лезвия налипшую грязь. Виновато потупившись, спросил:

– Что комиссару скажешь?

– Ему – ничего. А Федору Иванычу скажу как есть, – отмахнулся старик. – Давай, ходи видселя! Да хранит тебя Господь, сынок!..

19

Уставшее от дневного бега, порыжевшее солнце медленно сползало с небосклона, когда Сверчок подошел к окраине городка. В глаза бросилась необычная пустота на его улицах, словно все местное население вымерло. Страх, поселившийся в жителях с началом войны, давно приучил их без особой надобности не покидать дома. И все же

такая пустынность настораживала.

Услышав донесенную порывом теплого ветерка немецкую речь, юноша шмыгнул к невысокой калитке, за которой успел рассмотреть явно давно покинутый хозяевами, заросший высоким бурьяном двор с небольшим домиком и одинокой старой грушей у крыльца. Осторожно, стараясь громко не скрипнуть, потянул на себя неплотно притворенную кованую спинку от старой кровати, приспособленную под калитку. Глухо простонав ржавыми петлями, та с трудом распахнулась, прочертив на земле глубокую бороздку. Укрыться в густой кроне дерева было делом одной минуты.

Отсюда хорошо просматривались все ближайшие улочки и переулки. Мимо, ревя моторами и поднимая дорожную пыль, промчались немецкий бронетранспортер и несколько мотоциклов. Тщательно осмотревшись, Коля задумался. Он не был уверен в том, что Матюшин вернулся в город. Не зная точного времени начала операции, не видел смысла и отсиживаться здесь.

Тем же путем покинув двор, Коля, перебегая от дома к дому, стал осторожно пробираться к центру. Наконец среди приземистых одноэтажных строений показалась крыша старого особняка, в котором размещалось полицейское управление, где его держали. Дальше идти было опасно, и он нырнул в густо заросший крапивой пустой дверной проем, ведущий в подвал длинного, полуразрушенного строения барачного типа. В этом доме до войны проживали семьи рабочих с местной деревообрабатывающей фабрики.

Все подвальное пространство барака было разделено на мелкие клетушки, часть из которых некогда была заколочена досками, валявшимися тут же. На других еще сохранялись двери с сорван-

ными навесными замками. В самом дальнем угловом помещении, заставленном всяким ненужным хламом, под самым потолком Сверчок обнаружил крохотное оконце, густо затянутое паутиной, и прильнул к нему.

Ожидание оказалось недолгим. О начале партизанской операции известил внезапный оглушительный обстрел из минометов. Скоро к ним добавился нестройный хор стрелкового оружия. Сухо затрещали винтовки. Залаяли пулеметы и автоматы. Явно не ожидавшие столь дерзкого нападения средь бела дня, гитлеровцы не сразу открыли ответный огонь. Впрочем, не видя противника, они все больше стреляли в воздух. Минометчики Тимофея Кручени, задолго снабженные подпольщиками Вадима Скобцева нужными координатами, напротив, били точно по объектам, где располагались фашисты.

Все ближе доносились разрывы снарядов. Сидя в подвале, Сверчок продолжал следить за широкой улицей. Скоро, натужно кашляя выхлопными газами, по ней промчался, посверкивая черной краской, офицерский «Мерседес». Едва автомобиль скрылся за поворотом, как из ближайшего переулка показались трое полицаев. Юноша вздрогнул. Матюшина и Власенко он узнал бы среди сотен других лиц. Третьего человека разглядеть не удалось. Зайдя за угол, полицаи скрылись из виду.

Сверчок с трудом подавил в себе желание броситься следом. Велика была опасность попасть под снаряды своих же товарищей. Потянулись долгие, тревожные минуты ожидания. Наконец минометы уступили место нестройному хору стрелкового оружия. На улицах города завязались бои. Он уже собирался покинуть подвал, как вдруг снова показалась знакомая тройка полицаев. Озираясь по сторо-

нам, Матюшин и его подручные торопливо двигались в направлении, противоположном центру.

Дождавшись, когда пройдут мимо барака, в котором он отсиживался, юноша выскочил на улицу и на некотором отдалении последовал за ними.

Впереди шел незнакомый Сверчку полицай, придерживая одной рукой болтавшийся за плечами тяжелый ранец. Точно такой же висел и на спине Матюшина. Лишь Власенко шел налегке с одной винтовкой в руках. «Видать, Кондрат что-то ценное несет, раз не доверяет подчиненному», – мелькнула мысль у Сверчка.

На город медленно, легкой серой дымкой опускался вечер. Пройдя несколько кварталов, полицаи выскочили на окраинную улицу, за которой тянулся неширокий пустырь. Сразу за ним виднелся узкий еловый подрост, переходящий в густой лес. Опасаясь, что полицаи успеют в нем скрыться прежде, чем он их настигнет, Сверчок припал плечом к ближайшему телеграфному столбу и вскинул обрез.

Он промахнулся, поторопившись нажать на курок. Услышав выстрел, полицаи, не оглядываясь, пустились бежать.

Преодолев пустырь, молодой партизан ступил в мрачный, полный непредсказуемости и смертельной опасности мир. Наметанному глазу разведчика еще были видны на примятой траве следы, оставленные неосторожным противником...

20

К западной окраине города, где располагалась узловая станция, отряд капитана Чепракова подошел перед самой вечерней зарей. Сюда же подоспела и группа Строжевского-Вовка, ранее отправлен-

ная к Николиному хутору.

Услышав в докладе комиссара, что попавшему в руки гитлеровцев Николаю Цвирко удалось спастись, Федор Иванович обрадовался. Одновременно с этим он был омрачен известием о гибели другого своего партизана, юного Александра Довгунца.

– Немцев много постреляли? – поинтересовался командир.

– Так точно, много! – ответил стоявший рядом с комиссаром старший лейтенант Вовк.

– Выходит, Коле удалось провести немцев, – выйдя из недолгой задумчивости, проговорил капитан. Заметив недоумение на лицах своих замов, он отмахнулся: – Потом, все потом узнаете. А пока пора приниматься за дело.

Строжевский с Вовком переглянулись. Обескураженный загадочным заявлением командира, комиссар решил оставить на потом свои подозрения в адрес Цвирко и не говорить о его задержании.

Перед отрядом Чепракова стояла сложная задача: захватить и удерживать до прихода основных сил важный в стратегическом плане узел. Едва в городе раздались первые разрывы снарядов и партизаны Тимофея Кручени и Тараса Бакулева завязали уличные бои на северной и южной окраинах города, охрана станции немедленно заняла круговую оборону.

До наступления темноты оставалось совсем немного времени и следовало торопиться. Поднявшись на чердак пожарной части – самого высокого строения, расположенного вблизи железнодорожных путей, Федор в бинокль изучал подступы к построенному в начале века, в традициях западной архитектуры, невысокому одноэтажному зданию вокзала. Первый из двух железнодорожных путей, лежавших перед главным корпусом, был пуст. На

втором стоял прибывший в полдень эшелон с танками и самоходками, укрытыми маскировочной сетью. Еще один состав с боеприпасами находился на запасном пути.

С трех сторон станция, к которой почти вплотную подходили жилые кварталы города, была отгорожена высоким забором из нескольких рядов колючей проволоки. Открытой оставалась только западная сторона, где начинались широкие, поросшие густым бурьяном поля. Здесь немцы разместили два дота с крупнокалиберными пулеметами, а между ними в шахматном порядке расположили несколько зенитных установок. Отдельно были разбросаны защищенные мешками с песком пулеметные гнезда.

Изучив местность, Федор спустился вниз. Было ясно, что в силу своей малочисленности взять сходу станцию им не удастся. После короткого совещания решили провести отвлекающий удар по открытой западной стороне и затем, воспользовавшись сумятицей в стане врага, атаковать главное здание, в котором засели основные силы.

– Минометы к бою! – приказал капитан.

Сразу после того, как имевшиеся в наличии шесть трофейных минометов проутюжили с глухим уханьем доты и зенитные точки противника, в бой вступили стрелки. В воздухе повис запах пороховой гари. Засвистели, защелкали о бетон и кирпичные стены пули снайперов. Как всегда, на них командир делал особую ставку.

Еще участвуя в Финской кампании, Федор, тогда только начинающий красный командир, обратил внимание, как эффективно противник использовал связки из нескольких снайперов, действовавших одновременно. О своем наблюдении офицер доложил начальству, предложив

перенять опыт неприятеля. Однако руководство его предложение отклонило.

Позже, готовясь к забросу на оккупированную гитлеровцами территорию Белоруссии, Чепраков настоял, чтобы его отряд снабдили достаточным количеством снайперских винтовок. На этот раз в верхах прислушались к настойчивым просьбам командира только что созданной особой группы и выделили несколько прицелов к винтовкам Мосина.

Первая атака на главное здание быстро захлебнулась. Засевшие в укрытиях гитлеровцы ответили ураганным огнем. Оценив ситуацию, Чепраков перенаправил людей к стоявшему чуть поодаль большому длинному строению из железобетона, в котором, как им было известно, располагались мастерские. Неожиданно это принесло успех. Охранявшие здание полицаи из шумы, напуганные массированным огнем нападавших, побросав оружие, стали выбегать навстречу с поднятыми руками. Не все добежали до спасительного укрытия. Заметив беглецов, гитлеровские пулеметчики открыли по ним огонь, расстреливая в спину.

Партизанам без потерь удалось занять все огромное здание, захватив в плен двух пожилых немецких инженеров-механиков, под чьим руководством трудились местные рабочие. Несколько человек немедленно выказали желание примкнуть к партизанам. Остальных, вместе с задержанными немцами и сдавшимися полицаями, бойцы под руководством Вовка вывели за территорию железнодорожного узла.

Возвращаясь обратно, старший лейтенант заметил густой черный дым, поднимавшийся над трубой тепловоза, к которому были прицеплены платформы с техникой. Гитлеровцы явно собирались перегнать состав в безопасное место. Узнав об

этом, Чепраков, расположившийся в одном из угловых помещений мастерской, откуда хорошо просматривались задний двор вокзала и часть путей, сказал решительно:

– Нельзя допустить, чтобы фашистская бронетехника попала на фронт!

– Надо закидать тепловоз минами? – подал голос Строжевский.

– Не получится, – возразил ожидавший рядом сержант Улейкин, командовавший в отряде отделением минометчиков и саперов. – Снаряды закончились.

Комиссар нахмурился:

– Тогда отправьте подрывников, пусть заминируют рельсы!

– Рельсы нам еще самим пригодятся, собственно, как и тепловоз. Надо его на время вывести из строя, – предложил Вовк.

Поддержав идею старшего лейтенанта, Чепраков, велев ему взять с собой несколько бойцов, приказал:

– Пока мы будем отвлекать охрану, постарайтесь пробраться к тепловозу. Если не удастся – немедленно отходите! Саперам быть готовыми минировать ветку! – повернулся он к Улейкину.

Коротко козырнув, Вовк с сержантом поспешили к выходу. В этот момент дверь в мастерскую отворилась, на пороге появился боец, все это время продолжавший наблюдать с крыши пожарной части за дальними подходами к городу и станции. С его правой руки на бетонный пол скатывались крупные капли крови.

– Большая немецкая колонна движется к городу с западной стороны! – взволнованно сообщил он.

– Как далеко? – встревожился Чепраков.

– Минут через пятнадцать-двадцать будут здесь.

Отправив бойца к санитарам, Федор Иванович послал Улейкина с саперами минировать дорогу, ведущую к станции, после чего разложил на рабочем столе карту с планом прилегающих к ней территорий.

Готовясь к любой операции, капитан Чепраков заранее продумывал и возможные пути отступления. Имелся такой план и сейчас, но отступать офицер не собирался. На помощь вот-вот должны были подойти отряды Кручени и Бакулева. «Успеть бы занять всю территорию, а уж продержаться мы сумеем», – был уверен он.

Охранявшие станцию гитлеровцы, также заметившие идущую к ним помощь, усилили огонь. Снова застрочили пулеметы. Ожили и оба дота. Выпущенные по ним несколько снарядов не смогли пробить толстые бетонные стены.

Теперь к захвату станции и попытке задержать эшелон добавилась еще одна задача – не дать вражеской колонне въехать в город. Людей катастрофически не хватало, но уйти, не выполнив поставленную перед ним задачу, Федор Чепраков не мог. Не в его это было правилах. Железнодорожный узел был крайне важен для наступающих частей Красной армии.

Помощь пришла в лице невысокого молодого человека и сопровождавших его нескольких бойцов, буквально ввалившихся в раскрытую настежь дверь мастерской.

– Комвзвода Кондрашов! – зычно, стараясь перекрыть доносимые с улицы звуки стрельбы, представился он. – Прибыли в ваше распоряжение!

Это был один из взводов Тимофея Кручени, изрядно потрепанный в уличных боях.

– Снаряды к минам есть? – радуясь появлению новых сил, поинтересовался капитан Чепраков,

пожимая пришедшим руки.

– Есть немного, – обронил комвзвода.

Федор Иванович решил немедленно выступить вместе с людьми Леонтия Кондрашова навстречу движущейся немецкой колонне. Вовку по-прежнему было поручено захватить тепловоз. Нашлось дело и комиссару.

– Афанасий Петрович, отвлеки засевших гитлеровцев массированным огнем! – повернулся Чепраков к своему заместителю. – Усильте его по главному корпусу и пулеметным расчетам. Как только захватите несколько платформ с техникой, разверните стволы в сторону шоссейной дороги. Используем потенциал врага в свою пользу.

– Это чистое самоубийство! – неожиданно для присутствующих возмутился комиссар. – С одними автоматами и винтовками идти на пулеметы?! Ты меня извини, Федор Иваныч, но это все равно, что стрелять по воробьям. Надо немедленно отходить! Мы должны спасти людей.

Озадаченный заявлением зама, Чепраков набрал полную грудь воздуха.

– Товарищ Строжевский, выполняйте приказ! – стараясь быть спокойным, процедил он сквозь зубы. – Нам поставлена задача, и мы ее решим!

– Но это невозможно! Только зря людей положим! – парировал политрук. – Кто будет отвечать? – вызывающе встал он во фронт.

– Я! Я буду отвечать! – повысил голос командир. – Вы, вероятно, не в курсе, что военным положено отвечать за свои действия!

Намек на его гражданское прошлое возмутил Строжевского. Лицо комиссара исказила гримаса недовольства:

– Товарищ капитан, я не меньше вашего в ответе за жизни советских граждан! Еще и перед партией,

замечу вам!

– Выполняйте приказ! – жестко повторил Федор.

Дальше вступать в полемику с замом он не желал. За него это сделали старший лейтенант Вовк с комвзвода Кондрашовым, требовавшие продолжать наступление.

Тем временем Чепраков, отвернувшись к окну, размышлял про себя, как легче и без потерь захватить платформы с танками и самоходками. Операцию скорее можно будет завершить, сумей они ввести в бой тяжелую технику.

Все еще находясь в расстроенных чувствах из-за ссоры с комиссаром, капитан, забыв об осторожности, выглянул в окно.

Увлеченные спором, присутствующие не сразу заметили, как, сраженный шальной пулей в голову чуть выше левого глаза, Чепраков покачнулся и стал оседать по подоконнику на усыпанный битым стеклом бетонный пол.

Первым к упавшему подскочил Виктор Вовк. Ни секунды не раздумывая, находившегося в беспамятстве капитана быстро уложили на снятую с петель дверную створку, наспех перевязали рану. Четверо вызванных автоматчиков спешно понесли его в сторону жилых домов, где в заборе из колючей проволоки заранее были проделаны проходы.

В разгар боя отряд не мог оставаться без руководителя. Старший лейтенант Вовк, крайне удрученный случившимся с командиром, выжидательно взглянул на Строжевского. В сложившейся ситуации комиссар оказывался старшим по занимаемой должности. Однако он не был искушен в ратном деле, и офицер рассчитывал, что замполит передаст ему полномочия командира.

Афанасий Петрович молчал. Его терзали противоречивые чувства. С одной стороны тяжелое, по

всей очевидности, смертельное ранение Чепракова вызвало у него искреннее сожаление. За непродолжительное время знакомства он многому научился у этого опытного и бесстрашного офицера. С другой – случившееся открывало ему путь к руководству отрядом. Разве не к этому он втайне стремился?

Придав голосу командирские нотки, Строжевский поинтересовался у Леонтия Кондрашова:

– Что там с подпольщиками? Удалось кого-нибудь освободить?

– Всех, кого обнаружили в подвалах полицейского управления, – пробасил вместо комвзвода стоявший рядом с ним усатый мужчина лет сорока пяти, чья левая щека от глаза до подбородка была отмечена глубоким шрамом. – Слава богу, успели!

– Бог тут ни при чем! – скривился политрук, отводя глаза от страшного рубца. – Их освобождали мы с вами!

Бросив ироничный взгляд на своего комвзвода Кондрашова – комиссар соседнего отряда явно желал примазаться к их славе, – бывалый партизан понимающе кивнул:

– Как скажете!

На город незаметно опустилась ночь, накрыв его темным покрывалом, рвущимся местами от очагов пожара.

Накал боя не спадал. По-прежнему находя дальнейшие действия бессмысленными, Строжевский, прокашляв, чтобы скрыть волнение в голосе, заговорил:

– Ну, что ж, товарищи! Основную задачу мы с вами успешно выполнили, освободив подпольщиков. А здесь, сами видите, без поддержки значительных сил нам станцию не взять. И даже если возьмем, долго не удержим. Надеюсь, это вы понимаете,

товарищи. К тому же ночь на руку врагу, а не нам. В общем, беря руководство на себя, приказываю всем отступить! Так мы сохраним жизни наших людей, – снова попытался оправдать он свое решение.

Не согласный с таким доводом, комвзвода Леонтий Кондрашов решительно запротестовал:

– Станцию надо брать!

Виктор Вовк поддержал его:

– У меня приказ командира вывести тепловоз из строя! Отменить его может только сам Федор Иванович.

Почувствовав в их словах открытый вызов ему, Строжевский сверкнул белками глаз:

– Повторяю: исходя из сложившейся ситуации и принимая на себя общее руководство, я отменяю прежний приказ капитана Чепракова!

Начальственный тон комиссара не возымел должного действия на Кондрашова.

– Извините, но у меня свое руководство! – воскликнул комвзвода. Отдав честь, офицер призывно махнул рукой сопровождавшим его бойцам и покинул помещение. Не говоря ни слова, следом за ними выскочил и старший лейтенант Вовк.

21

Сбив шапку, пуля оцарапала висок, повредив сосуд. Еще не успев испугаться, Сверчок рефлекторно выхватил из-за пояса пистолет Власенко и дважды пальнул в сторону неприятеля, после чего припал к земле. Осознание того, что был на волосок от смерти, пришло вместе с мелкой дрожью, пробежавшей по всему телу. Подобрав сорванный с головы картуз, партизан зажал им рану, с которой на лицо текла горячая кровь.

Сверчок видел, как, низко пригибаясь, убегал

Матюшин. Почувствовав в ногах предательскую слабость, он не стал кидаться в погоню.

Дрожащей рукой потянув с шеи крестик с ладанкой, юноша припал к ним губами и застыл в недолгом молитвенном обращении к Богу, шепча пришедшие на память строки из «Отче наш...». Где-то глубоко в душе этому слабо противилось его комсомольское сознание.

Через некоторое время почувствовав, как к нему возвращаются силы, Сверчок пополз к видневшемуся метрах в тридцати небольшому взгорку. Оказавшись на заросшем невысоким кустарником гребне, он от удивления замер. Внизу, прямо под ногами, до самого горизонта раскинулась долина, сотканная из множества различных по величине и форме голубоглазых озер, разделенных между собой щетками густо растущего багульника. Кое-где виднелись чахлые низкорослые деревья с искривленными стволами, чьи корни явно страдали от избытка влаги. Отдельными островками хороводились пихты, соседствующие с болотными соснами. Особняком, словно чураясь соседства кривоствольных собратьев, держались стройные ясени, окруженные мелкой семейной порослью. По безмятежной поверхности зеркальных вод неспешно проплывали отражения розово-белых облаков. В северной части заполненной озерами равнины Сверчок разглядел островки, затянутые осокой, рогозой и сфагновым мхом – верными признаками того, что дальше начинались болота.

Увиденное очаровало юношу так, что он на миг забыл о войне. На память пришли школьные рассказы о белорусском Поозерье – крае, много тысяч лет назад образованном в результате таяния Валдайского ледника...

Матюшину снова не повезло: пуля прошла мимо партизана. Бросив в его адрес несколько бранных слов, он поспешил сменить место.

По его расчетам идти до лесного домика, куда планировал попасть засветло, оставалось совсем немного. Хотелось есть. Скинув с себя тяжелый ранец, Кондрат решил изучить его содержимое. «Немцы народ запасливый! Наверняка Хойер упрятал сюда пару консервов или несколько плиток шоколада», – думал он, рассчитывая обнаружить что-либо из съестного. Однако еды в ранце не оказалось.

Зато в ожидании другого Кондрат не ошибся. Вынув несколько кожаных папок, полицай отложил их в сторону, вытащил на свет один из десятка небольших, увесистых холщовых мешочков, явно сшитых неумелой рукой Хойера, не без труда развязал плотный узелок. На широкую ладонь, отблескивая на солнце золотом и каменьями, посыпались кольца и перстни.

С немецкой аккуратностью все драгоценности были расфасованы в отдельные мешочки: часы, браслеты, серьги, кольца, цепочки. На дне ранца тяжелой гирей лежало столовое серебро. Чтобы не оцарапалось, каждый прибор был обернут газетой.

Кондрат помнил все до последнего изделия, когда и у кого отбирал. Ухмылкой искривились его мясистые губы: «А хорошо, что этот хмыренок застрелил Василя с Сухевичем! Избавил меня от дележа. Теперь это все мое! – Сердце полицая затрепетало: – Теперь только жить!..»

С самого начала войны гитлеровцы активно занимались экспроприацией ценностей у населения оккупированных ими территорий. Так они

поступали в Европе, не изменили своим правилам и здесь. Все изъятые драгоценности объявлялись собственностью германского государства и переправлялись в Берлин. Этим занимались специальные команды, состоящие исключительно из немецких военнослужащих.

Когда Кондрат подошел к Хойеру с необычным предложением, тот не сразу понял, о чем речь. Сообразив же, вначале испугался. Полицай предлагал немецкому офицеру разрешить ему участвовать в этой акции нелегально. Естественно, все изъятое Матюшин обещал отдавать ему, оставляя себе лишь небольшую мелочь «для поддержания штанов». Клаус понимал: за такое могли отдать под трибунал, однако тщетно силился припомнить хотя бы один случай, когда за это кого-либо из офицеров наказали.

– Бояться нечего! – уверял полицай. – Все продумано до мелочей. От вас лишь списки с адресами богатых семей города и района, чтобы я со своими людьми успевал навестить их раньше, чем к ним нагрянет спецкоманда.

Такие списки у Клауса Хойера, действительно, имелись. Как ни странно, но их ему помогали создавать местные барыги, согласившиеся сотрудничать с новой властью. Кому, как не им, были известны имена крупных в недавнем прошлом торговцев, хозяев ломбардов, работавших с золотом зубных врачей. Взвесив все риски, офицер согласился. В конце концов, бумаги наверх можно отправлять с некоторым опозданием.

Задуманное было несложно осуществить. Кондрат был уверен: стоит лишь припугнуть арестом или расстрелом, и люди сами отдадут все накопленное и жаловаться не станут. Да и кому, когда ночью в твой

дом врывается представитель новой власти с постановлением на обыск и арест, подписанный офицером полицейского управления? Хочешь избежать неприятностей – плати. Хочешь жить – плати. Не желаешь, чтобы твоего отпрыска отправили на работу в Германию – плати. Кондрат Матюшин не побрезгует и золотыми коронками. Их все же лучше снимать с живого носителя, чем с трупа.

И люди платили. Много ценных предметов передал Матюшин начальнику районной полиции за время их «добрых» деловых отношений. Оттого и тяжел был ранец. Отягощали и собственные накопления, ведь о своих интересах Кондрат никогда не забывал. Зачем иначе все это было затевать...

Сложив мешочки обратно в ранец, Кондрат вспомнил, как, чудом избежав гибели у Николиного хутора, вместе с Власенко и Семеном Сухевичем вернулись в город, где вскорости попали под минометный обстрел партизан. В бой вступать не стали. Было очевидно: застигнутый врасплох, немецкий гарнизон обречен. Самое время было подумать о себе. К тому же момент оказался подходящий. Немцы искать не станут, спишут на боевые потери.

Прежде чем навсегда покинуть город, Кондрат забежал в дом дальнего родственника, у которого хранил некоторые личные вещи, после чего направился к полицейскому управлению. Здесь он надеялся застать капитана Хойера.

У особняка он остановился. Словно цепные псы, рядом замерли Власенко с Сухевичем, готовые по команде броситься на любого. С Кондратом они чувствовали себя увереннее. Небольшая площадь перед зданием кишела людьми. Повсюду царил хаос. Грубо потребовав уступить дорогу, мимо пробежали фельджандармы.

Вход в здание охранялся двумя пулеметчиками. Рядом, ощетинившись крупнокалиберным оружием, стояли в боевой готовности несколько коробок БТР. Тут же кучковались с десяток мотоциклов. Отдельно, сверкая полировкой, были припаркованы две легковушки.

Из здания то и дело выскакивали гитлеровцы. Выкрикивая на ходу команды, младшие офицеры прыгали в коляски мотоциклов, чтобы через минуту скрыться в западном направлении.

– Никак бегут? – заметил с иронией Власенко.

Кабинет капитана Хойера находился на втором этаже, в самом конце длинного коридора. Поднимаясь по лестнице, полицаи столкнулись с пробегавшим мимо майором, прибывшим днем с проверкой. Грубо оттолкнув с дороги малорослого Сухевича, офицер запрыгал вниз по ступенькам. За ним, едва поспевая, бежал унтер-офицер с чемоданом.

Узнав Матюшина, стоявший у дверей Хойера унтер-капрал молча отступил в сторону. Велев Василию с Семеном оставаться в коридоре и не спускать глаз с часового, Кондрат потянул дверь на себя.

Клаус Хойер был один. Торопливо доставая из сейфа какие-то бумаги, он бегло просматривал их, после чего одни исчезали в прожорливой глотке кожаного портфеля, другие же в стоявшем рядом на столе обыкновенном солдатском ранце. Неожиданное появление вицефельдфебеля скорее удивило капитана, нежели обрадовало.

– Матьюшин! Ви жив? – выдохнул гитлеровец, точно увидел перед собой привидение. – А мне сказат, что ви...

– Обманули! – перебил его вицефельдфебель.

Бросив взгляд в окно, он заметил, как выбежавший из здания майор садится в БТР. – Что, герр капитан, бежим? – не скрывая сарказма, произнес Кондрат: – Где же ваша доблестная армия?

Продолжая изучать папки с документами, Хойер попытался изобразить улыбку:

– Найн, Матьюшин, найн! Нихт бежать…

От прогремевшего во дворе сильного взрыва, все здание сотряслось. Выпущенная партизанами мина накрыла отъезжающий бронетранспортер с майором в тот самый момент, когда он сворачивал за угол. Следующий снаряд повредил крыло, в котором они сейчас находились. Взрывной волной Кондрата отбросило к стене. Хойеру повезло меньше. Опрокинутый на пол, он был придавлен тяжелым металлическим шкафом.

Подобрав упавший на пол портфель, полицай заглянул внутрь. Не обнаружив, кроме папок с орлами, ничего интересного, он отшвырнул его в сторону и потянулся за ранцем.

Раненный в бедро осколком оконного стекла, Хойер тщетно пытался освободиться из-под завала. Заметив движение подчиненного, офицер попытался ему помешать. Нагнувшись, Кондрат ударом кулака в челюсть упредил крик, готовый сорваться с губ капитана.

Радость охватила его, когда почувствовал приятную тяжесть ранца. Он догадывался, что могло в нем находиться. Перешагнув через Хойера, Кондрат выглянул в коридор. Осыпанные цементной пылью, Власенко с Сухевичем стояли над телом убитого осколком немецкого часового. Из охваченного пожаром здания продолжали выскакивать уцелевшие гитлеровцы.

Приказав подчиненным никого в кабинет не

пускать, Кондрат снова притворил дверь. И как раз вовремя. Пришедший в себя капитан сумел дотянуться до кобуры на поясе. Ногой выбив из его руки пистолет, полицай всей тяжестью своего тела навалился на гитлеровца, вцепившись железными пальцами в его шею. Не в силах отбиться, Хойер захрипел, умоляя сохранить ему жизнь:

– Найн, Матьюшин, найн! Пожалюста!.. Пожалюста!.. Майне фрау... майне фрау...

Кондрату было безразлично, что хотел поведать капитан о своей супруге в последнюю минуту жизни. Закинув ранец за спину, он еще раз взглянул на застывшие от удивления и ужаса глаза мертвого офицера, сунул его пистолет в карман брюк и спешно покинул кабинет. Полчаса спустя все трое, выбравшись из города, растворились в лесу...

Матюшин торопился. У заброшенного домика он надеялся встретить других дезертиров и уже с ними идти дальше в Литву.

С переходом в наступление Красной армии побеги из полицейских подразделений участились. Некоторые решались сдаться партизанам. Тем, кто не обагрил руки кровью советских граждан, после тщательной проверки давалась возможность с оружием в руках искупить вину перед отечеством. Кондрат знал: его не простят и вариант этот не рассматривал. По совету старосты Лукашевича, в Литве он рассчитывал некоторое время отсидеться, пока не выправит новые документы, чтобы потом уехать далеко на восток страны, где и затеряться навсегда.

Выскочив на край леса, Кондрат оторопел. Дальше земля, образуя небольшой пологий спуск, переходила в широкую, усыпанную многочислен-

ными озерцами равнину. На карте это место значилось в стороне от намеченного им пути. Сбитый с толку, полицай сбежал по склону вниз и в нерешительности остановился у кромки небольшого природного котлована, наполненного водой, в темной глубине которой отражались росшие чуть поодаль зубчатые сосны. Долетевший с севера ветерок подернул зеркальную поверхность озерца мелкой рябью.

Матюшин пытался понять, где мог сойти с намеченного маршрута. Он не догадывался, что последние несколько часов молодой партизан своими подгоняющими выстрелами вел его в нужном для себя направлении. Так опытные охотники подводят крупного зверя как можно ближе к стоянке, чтобы потом не пришлось на себе нести тяжелую тушу.

Услышав за спиной сухой треск сломанной ветки, полицай обернулся. С небольшого косогора на него смотрел партизан. Выпущенная им пуля, вызвав у самых ног фонтанчик жидкой грязи, заставила Матюшина испуганно отскочить от кромки воды и, скользя по склону, вскарабкаться обратно, прикрываясь кучерявившимся сосняком.

Достигнув земной тверди, Кондрат перекинул ранец со спины на грудь, чтобы не мешал быстрому движению, и побежал. Однако далеко уйти ему не позволили.

– Стой, Матюшин! Руки! – громко скомандовал партизан, выскочив из-за деревьев.

Увидев нацеленный на него ствол, Кондрат потянулся к поясу за пистолетом. Упреждающий выстрел поверх головы остановил его.

– Руки вверх, говорю! – угрожающе придвинулся Сверчок.

Выронив оружие, полицай устало прислонился к дереву и опустил тяжелую ношу на землю.

– Теперь нож!

Бросив на противника полный ненависти взгляд, вицефельдфебель вынул из-за голенища финку и отшвырнул ее в кусты:

– Ну, здесь порешишь или как? – осклабившись, спросил негромко.

Заметив за его ухмылкой плохо скрываемый страх, юноша улыбнулся:

– Поживи еще немного! Ты же хотел увидеть моего командира? Заодно и с партизанским трибуналом познакомишься.

Услышав о суде, Матюшин обреченно потемнел лицом.

– Лучше здесь кончай! – стянул он губы в узел.

– Снимай со штанов пояс! – приказал Сверчок, намереваясь связать неприятеля.

Полицай положил ладонь на металлическую пряжку тесемчатого ремешка. Казалось, он окончательно потерял решимость. Но вдруг, поймав момент, когда партизан на секунду отвлекся, скользнул рукой в широкий карман форменных брюк, где лежал пистолет Хойера. Не вынимая его, выстрелил.

От сильного обжигающего удара в бедро Сверчок едва устоял на ногах. Палец машинально нажал на курок «парабеллума», который все это время держал наготове. Второй выстрел оказался точнее. Попав в руку, пуля выбила у полицая оружие, которое тот успел выхватить из кармана.

Вскрикнув от боли, Матюшин, не мешкая ни секунды, набросился на юношу и повалил на землю. Прижимая всем телом, он здоровой рукой пытался дотянуться до его пистолета.

– Щеня, ты и вправду думал, что я сдамся? – хрипел в лицо полицай, брызжа слюной.

Отчаянно сопротивляясь и превозмогая сильную боль в бедре, Сверчок, изловчившись, скинул оружие за голову.

Не сумев овладеть пистолетом, Матюшин потянулся к его шее. Физически превосходящий в силе, он мог задушить и одной рукой.

В какой-то момент заученным приемом из французской борьбы Коле удалось немного освободиться и с большим трудом дотянуться до сапога. Нащупав рукоятку пластунского ножа деда Захара, юноша ударил им полицая в бок. Однако лезвие, коснувшись чего-то твердого, скользнуло в сторону. Казалось, тело полицая было выковано из железа. В страшном отчаянии, задыхаясь, Сверчок из последних сил начал наносить удар за ударом. В какой-то момент, взвыв от боли, полицай скатился с него. Схватив пистолет, Коля направил его на врага, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрядить в это ненавистное лицо всю обойму.

Чуть позже, немного отдышавшись, он сорвал с полицая брючный поясок, стянул руки за спиной, после чего осмотрел раны. Их на спине и боках Матюшина оказалось с десяток, но все они были неглубокими и серьезной опасности здоровью не несли. Разорвав его же рубаху на широкие полоски, Сверчок перевязал раны и занялся своей ногой.

Пройдя навылет, пуля повредила сосуд, отчего рана сильно кровоточила. Пришлось мастерить жгут из собственной сорочки. Перетянув ногу и наложив повязку, он вернулся к полицаю. Взгляд упал на ранец, возле которого прямо на земле валялся сшитый из суровой ткани широкий пояс с многочисленными накладными карманами-

клапанами. Сверчок обнаружил его на теле Матюшина, еще когда только собирался осмотреть раны.

«Так вот почему нож отскакивал!» – удивился юноша, высыпав из поврежденного ножом кармашка на ладонь несколько небольших металлических пластинок желтого цвета. Вдруг лицо его исказилось в брезгливой гримасе и он смахнул их на землю. Это были зубные коронки, превращенные обычным молотком в тонкие пластушки. В памяти тут же всплыл первый допрос, когда Матюшин заглянул ему в рот. Тогда Сверчка это удивило. Сейчас же, осознав, что полицай надеялся там найти, он невольно потянулся за оружием.

– Нет-нет, ты не подумай, это все не мое! Не мое, не мое! – испуганно заверещал полицай. – Это капитана Хойера, моего начальника!

Коронки на поврежденные зубы врачи научились ставить давно. Но перед самой войной среди населения, особенно молодежи, появилась мода вставлять фиксы и на здоровые зубы. Состоятельные шиковали золотыми. Остальные модники обходилось стальными коронками. Форсу ради, не отставали от старших и подростки. Перед тем, как выйти из дома, фиксу натирали листиком шалфея, отчего металл сверкал ярче.

Примерив пояс на вес, Сверчок поднял пистолет:

– Сколько же людей ты загубил, сволочь?! С мертвых снимал?..

22

Партизанам не удалось удержать город. Ворвавшись большой колонной, гитлеровцы сумели их выбить. Не получилось захватить и станцию. И все же старший лейтенант Вовк, ценой потерь нескольких бойцов, успел вывести из строя тепловоз и

часть железнодорожного полотна, не допустив отправления состава с техникой.

Значительно поредев, отряд под его руководством покидал город. С Виктором уходили все те, кто до конца остался выполнить приказ командира Чепракова.

На новую базу они прибыли еще затемно, застав командира все в том же бессознательном состоянии. Тяжелораненых было несколько человек. Ближе к утру за ними прилетел вызванный по рации самолет.

Все это время Захар Петрович не смыкал глаз, оказывая вместе с бойцами-санитарами помощь пострадавшим. Каждому старался подобрать слова поддержки. Не забывал справляться и о Сверчке, всеобщем любимце. Может, кто видел его. Дымя зажатыми в кулак цигарками, бойцы устало мотали головой: «Нет, не встречали. Разве в бою углядишь за каждым. Да и темно уже было. Лежит, наверное, где-нибудь с простреленной грудью. Сегодня многих потеряли...»

Да, этой ночью возвратились далеко не все. Часть их товарищей осталась лежать у станции. Бойцы роптали, выказывая недовольство. Будь Чепраков до конца с ними, разве так бы закончилась операция?! С Федором Ивановичем и не из таких передряг выходили победителями. Подвел комиссар, отступив с частью партизан. Бросил. Нет, оказывается, единения в отряде. Стоило командиру выбыть из строя, как первый же бой это показал. Что это, страх перед партийной должностью Строжевского?..

Едва солнце поднялось над землей, к деду Захару прибежал посыльный. Велел предстать перед политруком, их новым командиром. С огромной

неохотой заковылял старый казак к командирской землянке, которую сам же и рыл.

Строжевский с Вовком вдвоем ожидали его.

– Где Цвирко? – встретил его комиссар жестким тоном, словно хлесткую пощечину отвесил. – Почему его нет в лагере? Сбежал?

– Зачем сбежал?! – пожал плечами Захар Петрович. – Я его самолично отпустил!

– То есть как! А мой приказ!

– А што приказ, ну што приказ?! – старик с достоинством встретил уничтожающий взгляд политрука. – Ну, якой Коля предатель? Быть такого не может.

Чувствуя незримую поддержку со стороны старшего лейтенанта, Строжевский махнул рукой:

– Ладно, идите пока! Мы с вами потом поговорим. Из лагеря никуда не уходить!..

Вслед за дедом Захаром землянку покинул и командир разведгруппы. Пройдя рядом с десяток метров, Вовк остановился:

– Рассказывай, Захар Петрович, куда Сверчка спрятал?

– Отпустил я його, – честно признался старик. – Как есть, отпустил. Коля казав, што не вернется, покуда Матюшина не убьет.

Опасаясь за жизнь юноши, офицер с укоризной покачал головой:

– Он же еще мальчишка! Полицай прикончит его!

– Боец он, Виктор, боец. Пусть ше и нэ такий як ты, но военное дило добре изучил.

– Верни его в лагерь, отец, – потребовал Вовк, уверенный, что старик скрывает юношу где-то в лесу.

– Да як же я його верну, коли не знаю, где вин?

Они продолжили движение. Некоторое время шли молча.

– Тяжко було? – бросая исподлобья взгляд на усталое лицо офицера, обронил дед Захар. – Хлопцев дуже много полегло!

– Да, не так все пошло, как планировали с командиром, не так, – покачал головой старший лейтенант. – И Федора Иваныча потеряли, и бойцов почем зря положили.

– Зря ничего не бывает, – не согласился с ним старый воин. – У всего есть своя оценка…

Нарушив приказ нового командира, дед Захар ближе к полудню незаметно покинул лагерь. Несколько часов он бродил по бескрайнему лесу, в надежде повстречать своего юного товарища. Не сомневался: если Сверчок жив – непременно объявится. В очередной раз присев передохнуть, старик вдруг отчетливо вспомнил их последний разговор и слова, оброненные юношей перед уходом: «Встретимся на старом месте!» «Вот, дурень! Надо было сразу идти к старому лагерю», – стал корить себя за потерянное время Захар Петрович.

Оказавшись вблизи старой базы, дед Захар огляделся. Землю давило тяжелое, как и его настроение, свинцовое небо. Моросило. Никогда еще лес не казался ему таким неприветливым.

Не заметив ничего подозрительного, он прошел по старым кострищам, заглянул в пустующие землянки. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. В стремительно надвигающихся сумерках лес стал наполняться ночными звуками. Затрещали сверчки. Захар Петрович уже собирался повернуть обратно, когда краем глаза заметил, как на небольшой лужайке, метрах в ста пятидесяти от него, на фоне серого неподвижного пейзажа что-то

шевельнулось. Скинув с плеча автомат, он притаился за обросшим толстым мхом березовым выворотнем. Вдруг недалеко кто-то вскрикнул, заставив его вздрогнуть:

– Это же Сверчок!

От деревьев отделились две фигуры. Узнав в них разведчиков своего отряда, дед Захар удивился.

– Он! Точно он! – подтвердил голос, принадлежавший Грушину.

Приветливо махнув старику рукой, партизаны помчались навстречу молодому товарищу.

Еще днем, сразу после короткой беседы с дедом Захаром, старший лейтенант Вовк велел своим подчиненным незаметно следить за ним. Офицер продолжал думать, что старик прячет Сверчка в лесу.

Досадуя, что не заметил за собой слежку, дед Захар тронулся следом за бойцами. Его лицо светилось от предвкушения встречи с живым и невредимым любимчиком. Впрочем, врачи вряд ли посчитали Николая Цвирко невредимым. Потеряв много крови, юноша с трудом держался на ногах, опираясь на длинную палку. Рядом, постанывая, сидел, прислонившись к дереву, полицай.

Ближе к утру, едва на горизонте засияла кромка неба, в воздух взмыл самолет, унося за линию фронта вицефельдфебеля Матюшина и юного партизана Колю Цвирко. Рядом, расположив между ног ранец с драгоценным грузом, сидел, положив автомат на колени, боец Грушин. И неясно было, кого конвоирует этот улыбающийся парень – полицая или обоих.

Проваливаясь в воздушные ямы, легкий самолет упорно продвигался на восток. Желая подбодрить раненого товарища, Грушин повернулся к Сверчку,

но боец партизанского отряда Николай Цвирко спал.

Они еще не знали, что в этот день, 23 июня 1944 года, войска 2-го Белорусского фронта под руководством нового командующего, генерала армии Георгия Захарова, перешли в широкомасштабное наступление. Через два дня городок был освобожден. Начинался новый этап в освободительной борьбе советского народа против фашистских захватчиков...

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА

Поэзия

***

Сегодняшний день закончен
И – начат: таков закон.
Из точек и многоточий
Сплетается ткань времен.
Вневременна, беспризорна,
Но этим же хороша,
Беспамятна, иллюзорна
И вечна, живет душа.

С душицею чай заварен:
Сиди, попивай в тиши.
Сегодняшний день подарен
На радость твоей души.
Забудь обо всем, что было,
Хотя бы о том, что зло
Ломало, пытало, било –
Поверь, это все прошло.

И есть уголок домашний,
Сопение спящих чад.
Сегодняшний день вчерашним
Не станет.
Часы ловчат.
«Все временно», – постоянно
Твердим, не сводя с них глаз.

Но запах душицы пряный
Тайком воскрешает нас.
Но запах душицы пряный
Чайком воскрешает нас.

***

Взять алюминиевый ковшик,
Из звонкого ведра воды
Черпнуть – ее принес с колонки
Дедуля.
Мокрые следы
С ледком, припаянным к ботинкам,
В прихожей.
Крепкий табурет
Поставлен тут же.
Тают льдинки.
Ведро тихонько ставит дед
На пол.
Садится.
Отдыхает.
Снимает шарф, пальто кладет
На оттоманку.
Новый год,
Еще чуть-чуть, и наступает.

Загадочен не спящий дом.
В нем бродят фар неутоленных
Бегущие огни.
Соленых
Огурчиков еще на стол
Добавит бабушка.
Сейчас
Пробьет двенадцать.
Если верить,
То Новый год откроет двери,
Растерянных увидит нас,
Захваченных опять врасплох,
Который год на полуслове
В разгаре шумного застолья
У елки с красною звездой.

Под бой курантов – раз-два-три... –
Желанья загадаем дружно.
Тогда-то дверь открыть и нужно
Пошире, папа – у двери,
И я гляжу сквозь занавеску
В год тыща девятьсот советский
И пятый свой уже живу.
Случайно что-то получилось:
Читать почти что научилась,
Писать про маму и «Маскву».
И мама исправляет «а»
На «о», чтоб, как в трубе подзорной,
Стеной Кремлевскою Москва –
Придумана и иллюзорна,
Высокопарно безгранична
Мне долго грезилась.
«Столичной»
За миру – мир и нет войне
Нальют и выпьют в тишине.
Перемолчат словцо-другое
О тех, что не пришли из боя,
И за детей и внуков звон
Бокалов, схожий с колокольным,
Возвысится.
Стаканчик соли,
Белеющий впотьмах окон:
«Бабуля, а зачем здесь это?», –
Так и остался без ответа,
Чтоб вспомниться десятки лет
Спустя.
Не скрипнет табурет
Все так же, как тогда, и больше
В ведро с водой не плюхнет ковшик,
Не станет фар полночных свет
Бродить по проданному дому,

Где к тыща девятьсот седому
Возврата не было и нет.

Чужие поселились здесь,
Мечтают о скорейшем сносе.
Заменят рамы: отошло
Их время – путь стеклопакетам.
Стаканчик обернут в газету:
«Внучок, снеси его в ведро».
И мальчик побежит шустро.
Ему подходит пятый год,
Он по слогам хоть что прочтет,
Вон, сверток по пути читает:
«Народ советский поздравляю...
Известия... декабрь... семь, восемь...».
И остановится, и спросит,
Случайно развернув газету:
«Бабуля, а зачем здесь это?»

***

На Николаевском проспекте
Стоит телега.
Проходят мимо бабы, дети...
Белее снега
Круп лошади, стоящей мирно,
Жующей мерно.
В Казанском раздают просвиры.
Колокола звенят над миром
Благословенно.

У города в разгаре детство.
Стучит сапожник...
У москательной по соседству –
Во имя Божье –
Пригнул колени побирушка:

«Дай, Христа ради!».
В аптеку Байгера старушка,
Пышна в охвате,
Заходит. Скрип дверей высоких
Вещает: «Вот же
Пиявки, склянки в антресолях –
То подороже,
А это подешевле!..
Чудо –
Пилюли эти!..».
А над аптекой солнца блюдо
Радушно светит,
На выметую мостовую
Во всю сияет.
Там барынька – сыщи такую –
С маман гуляет.
Шарманщик собирает мелочь
Зевак случайных.
Все что булыжно, звучно, в целом
Все обычайно.

Колес ободья загремели...
Телега шатко
В путь тронется,
А с нею – время –
Но, н-но, лошадка!..

***

Вприпрыжку можно думать о былом
Лишь только так: что было, то и ладно.
Утеряны в пространстве ключ и дом,
И городок весенний и прохладный.
И шторка набекрень – невзрачный тюль,
Полощущий на сквозняке платочком.

И слабо проступающий июль,
Письмо несущий с датою неточной.
А в том письме, поди-ка, угадай,
Надорвана страница на ПРОЩАЮ,
И шторочки фатальная фата
Хорошую погоду предвещает.

Не надо останавливать часов
На повороте лесенки унылой
У двери, где замок почти засов
Не отворим сим-симом слова «было».
Все было: у ладони – шепот губ –
«Запомни, ты совсем не посторонний»,
И майские дожди в гортанях труб,
Как тряска в катафалке похоронном.
Отвага невесомого житья.
Шитье крестом по светлому атласу.
Такой через полжизни буду я –
Знакомою девчонкой одноклассной.

И надо бы вернуться, чтоб вернуть
Усилия, потраченные глупо,
В слабеющей ладони шепот губ
И в шепоте слабеющие губы.
А завтра, может быть, наверняка,
Весну внесет в твой город отдаленный,
А с нею грохот давнего звонка,
Придавленного пальцем почтальона.
На срочной телеграмме тчка
И зпт расставлены вручную,
И наконец-то сможется в стихах
Проговорить, как без тебя живу я.

Читай меня, я не хочу скрывать
Тебя за километры расстоянья,
Чтоб оживать и снова умирать
В неотвратимой пытке расставанья.
В листке примятом исповедь смешна:
Но сколько можно быть предельно ров-
ной?..
И бьется шторка в оклике окна,
И край листа предательски надорван.

Ну что стоишь и воздух ловишь ртом:
И так весна, и в подворотне слякоть.
А песенка, наверное, о том,
Как я вприпрыжку забываю плакать.

***

Утро кружевное и ажурное,
Все искристо-снежное.
Кот выходит и от солнца жмурится.
Белыми одеждами
Щеголяют домики притихшие.
Говори вполголоса.
Пусть досмотрят сны о сне забывшие.
Дальним Южным полюсом,
Занесенным снежными торосами,
Станет южный Ставрополь.
Выглянешь в окно: как чисто, Господи,
Как просторно стало-то!

Декабря зеркальная оскольженность,
Выглаженность, сглаженность
Тротуаров и дорог: о, сколько их,
Вот пройтись по каждой бы –

Не спеша, подробно...
Залюбуешься!
Выспренно, пространственно
Пусть расскажут – улица за улицей,
Липы, клены, ясени –
Как кружилось им всю ночь, что грезилось
В снегопадном кружеве?
Заживется ясно, ярко, песенно
Дворикам утюженным,
Крышам, накрахмаленным до хрусткости,
Фонарям невиданным.

Наконец-то людям не до грусти всем:
Счастья столько выпало

***

Веселый день.
Куда ни бросишь взгляд,
Все зелено, лучисто, говорливо.
Гремит освобожденный самокат,
На нем ребенок катится счастливый,
Смеется мама, глядя на него,
Кричит: «Постой, не разгоняйся, слышишь?!»,
И сыплются лучи изо всего,
Что выше
Меня – былинки, блика бытия
В сумятице весеннего этюда.
И вот теперь определи, где я?
Я – всюду!

Потерянный клад... К 150-летию со дня рождения Павла Кузьмича Белецкого

ЛИЛИЯ ЖИДКОВА

Краеведение

Недалеко от Центрального парка города Ставрополя, по улице Ленина, 220, среди модных новостроек, до начала лета 2021 года доживал свой век дом красного кирпича с зелеными ставнями. Не сберегли, теперь он только на фото и в памяти. Въезд в крошечный дворик украшали колонны из ракушечника с выпуклым узором кругов посерединке. Сквозь соседскую сетку-рабицу проглядывал старый сад. Время здесь словно остановилось. Казалось, что взглянешь на табличку с номерком, увидишь не улицу Ленина, а – Мавринскую или Госпитальную. Из глубины сада встанет от стола с рукописями и помашет ладошкой старичок, словно зовя в гости, мол, проходи, не робей!

В этом ветхом домике, нынче снесенном, жил когда-то удивительный человек –

Павел Кузьмич Белецкий. Кем же он был? Трудно ответить односложно. Забытое сейчас имя Павла Белецкого некогда гремело на всю Российскую империю, как русского писателя, фельдшера, путешественника, этнографа. И хочется, чтобы 150-летие со дня его рождения не прошло незамеченным на его малой родине. Не дадим его имени кануть в забвении!

Павел Кузьмич родился в Ставрополе 17 (29) мая 1871 года в семье отставного унтер-офицера и бывшей крепостной. Павел учился в городском училище до смерти отца. В тринадцать лет был отдан на казенное иждивение в военно-фельдшерскую школу в Тифлисе, которую он с отличием окончил в 1887 году. Жизнь военного медика забросила его в Грозненский военный госпиталь, позже в Ставрополь, станицу Невинномысскую, г. Георгиевск. Трудясь участковым фельдшером Ставропольской губернии, ему «приходилось много работать среди беспомощного в медицинском отношении населения, лечившегося почти исключительно у знахарей и бабок». Много людского горя повидал Белецкий в своей жизни, что не могло не отразиться на характерах героев будущих книг.

После выхода в отставку Белецкий отправился в путешествие по Дону, Поволжью, Карелии и Прибалтике.

Впервые в печати Павел Кузьмич выступил с письмом в редакцию журнала «Русский врач» в 1896 году о тяжелом положении семьи врача, покончившего счёты со своей жизнью. В следующем году переезжает в Санкт-Петербург, где

работает фельдшером на заводе «Молот».

Тогда же публикует первую статью о защите фельдшеров «Деревенский лекарь» и дебютирует в петербургской газете «Народ» с рассказом «На почве новых понятий». Несмотря на то, что с этого момента Павел Кузьмич занялся литературно-публицистической деятельностью, все последующие годы он защищает права и достойное положение фельдшеров. В течение семи лет он опубликовал шестьдесят семь статей в защиту медиков. В них он, среди прочего, критиковал антисанитарные условия работы людей, что вызвало гнев промышленников и интерес охранки. В результате Павле Кузьмич был поставлен на учёт в полицию. В тот период времени он жил в Санкт-Петербурге, где постепенно начал печататься в газетах «Копейка», «Народ», «Новости», «Русский труд».

Лев Толстой на встрече с фельдшерами – создателями журнала «Фельдшерская мысль», выходившего в Ростове-на-Дону, заметил: «Вы знаете, это уже третий случай, когда ко мне обращаются люди вашей профессии, и все люди прекрасные, умные и с большими запросами духа. Помню Задеру, помню также милого Белецкого».

Всё свободное время Белецкий уделял самообразованию. Много читал и писал. Неудержимый, любознательный фельдшер быстро обратил на себя внимание петербургской публики. Но жизнь в четырёх стенах не прельщала Павла Кузьмича. Его неудержимо влекло к путешествиям и приключениям.

В 1897 году, в свои двадцать шесть лет, Белец-

кий получает приглашение от Я.А. Макерова в геологическую экспедицию в качестве препаратора животных на два года. В дебрях Даурской тайги, в бассейне реки Витим, среди первозданных лесов и троп диких животных, именно здесь родился Павел Кузьмич как писатель. «Даурской землей» называли русские первопроходцы земли Забайкалья и Западного Приамурья. Сейчас корень этот можно найти в названии Даурского хребта и Даурского заповедника, основанного в Читинской области в 1987 году.

Новые земли, обычаи местных народов: бурятов и тунгусов, их притеснение пришлыми, быт замкнутых староверов, мечты переселенцев о счастье, поиск золота и других богатств Сибири, промыслы, таёжная природа, беглые каторжники – всё это нашло отражение в совершенно новом литературном направлении «истерн», то есть вестерн, где события перенесены на Русский Север. Это потом русская литература откроет «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева, а в советское время - «Территорию» О. Куваева. Вся эта Сибириада будет после. Но литературным первопроходцем был и остается наш земляк – Павел Белецкий. Чего стоят одни названия его рассказов: «Герои тайги», «Поклонники медведя», «Переправа через Байкал», «Таёжный бродяга», «В глуши Сибири», «За золотом», «У родных берегов» ...

И гордо сознавать, что впечатленный экспедициями, Павел Кузьмич напишет свои романы «В горах Даурии» и «Король Тайги» в Ставрополе. Его герои храбры, благородны и суровы. Они сталкиваются с опасностями дикой природы,

соприкасаются с проблемами малых коренных народов и с проявлениями человеческого характера в сложных жизненных ситуациях.

«Жемчужиной земли» Павел Кузьмич называет природу далекого уголка России: «Первобытно-прекрасная, живописно раскинувшаяся на многих тысячах квадратных километров и изобилующая всевозможными богатствами, она всё-таки не удостаивалась никакого внимания. Многие ли знают, что представляет собой этот обширный таинственный край, изрезанный в разных направлениях грядами причудливых гор и покрытый вековечным лесом. Многие ли знают, кто живёт там, в недрах глухой поэтической тайги на девственном лоне природы и как вообще проявляется там живая жизнь?».

По возвращении из экспедиции в Петербург Павел Кузьмич публикует статьи в «Биржевых ведомостях», «Обозрении Петербурга», «Слове», в иркутской газете «Восточное обозрение», «Забайкальской нови». Павел Кузьмич часто печатается под псевдонимами «Ставропольский», «Дядя Кий», «Гость». Но большая часть статей, рассказов до сегодняшних дней не сохранилась и утрачена безвозвратно, хотя имя было известно и сибирякам, и петербуржцам.

В 1900 в Петербурге Павел Кузьмич венчается с женой. По материальным соображениям в 1903 г. Белецкий переезжает в Грозный. Но уже в 1904 г. опять уезжает в Забайкалье. В 1910—1911 г.г. работает фельдшером на железной дороге. В 1912 совершает путешествие по Дальнему Востоку России. Верхом на лошади он проходит вдоль

левого берега великого Амура до Охотского побережья, а после посещает часть средневековой Монголии и выходит в Маньчжурию.

В 1911 году в каждом номере газеты «Копейка» выходит по частям роман «Король Тайги», который молниеносно делает автора знаменитым на территории всей Российской Империи. Редактор относит это произведение к жанру криминального романа, а власти не успевают вовремя отреагировать и обратить внимание на затронутые проблемы книги. Однако издатели усмотрели необычное произведение. И в 1912 году в журнале «Мир приключений» вышел роман «В горах Даурии». Читатели встретили роман восторженно, что нельзя сказать об охранке. Видимо, поэтому следующий роман «Старый грех» был создан в жанре бытовой прозы, издан под псевдонимом и успехом у публики не пользовался. В 1914 году выходит повесть «На вольной земле», где Белецкий решает совместить дух приключений и социальную направленность. Но прошлого восторга повесть не вызвала.

В 1919 году Павла Кузьмича выбирают секретарем Центрального правления общества литераторов и ученых Петрограда. Он сотрудничает с А.М. Горьким, В.Г. Короленко, В.И. Немировичем-Данченко, А.Ф. Кони. Но ситуация в Петрограде, где не кончались погромы, заставила Белецкого вернуться в Ставрополь. На родине он в разное время заведует фельдшерскими пунктами в селах Дубовка и Пелагиада. В Ставрополе возглавляет подотдел «Матери и ребенка и школьной санитарии». Павел Кузьмич продол-

жает работать над статьями, очерками, рассказами, в замыслах – новый роман «Потерянный клад».

Но сидеть на месте – не в характере Белецкого. Он совершает путешествие по Дагестану, итогом которого станет книга заметок «Наши на Кавказе».

В шестьдесят лет Павел Кузьмич выходит на пенсию, но узнав о плавании одного из рыболовецких траулеров в Баренцевом море, он напросился в команду в качестве исследователя и отправился в Мурманск. Северный ветер привёл к простуде, которую Белецкий не смог пережить.

Павел Кузьмич писал академику Пекарскому перед своей смертью:

«Неужели придется уйти в могилу, не оформив следа пребывания своего? Если собрать все да подработать кое-что, то у меня наберется не менее дюжины томов одной беллетристики. Выходит какая-то насмешка судьбы. Лучшие годы прожить литератором и умереть обывателем, даже следа не оставив, разбросанное по журналам на протяжении десятков лет нельзя же считать следом?»

19 марта 1934 года он скончался после тяжелой болезни. Похоронен на Успенском кладбище в Ставрополе. Но надгробие на могиле утеряно.

В фондах Российской национальной библиотеки хранятся около тридцати его произведений, опубликованных в дореволюционных журналах и газетах. В региональных библиотеках страны, в том числе в Забайкалье, на Ставрополье произведений Белецкого не найти.

«Ставропольский Фенимор Купер», – так

называют Павла Кузьмича редкие заголовки газет нашего времени. Но многие ли жители Ставрополя знают о нём, каждый день проходя мимо его дома, на месте которого теперь пустырь, а скоро будет высотка?

ПАВЕЛ БЕЛЕЦКИЙ

Проза

На вольной земле

(отрывок из повести)

Глава 1

Всю зиму алёхинские переселенцы собирались в дорогу на новые земли и только к апрелю закончили трудные сборы. Путь предстоял далёкий и тяжелый – больше семи тысяч вёрст по железной дороге да тысячи полторы водою. Но не в дороге одной дело. Надо было изменить всю жизнь, разделаться со старым и приготовиться к новому. Нелегко это было и совсем не так просто, как казалось прежде, до начала сборов, когда только решали попытать счастья в далёкой стране, на вольных землях, когда посылали туда в складчину ходоков. Тогда настоящего не было жаль, глубокой связи с родным селом не чувствовалось и освобождение от всех корней, которые привязывали к жизни в ней, казалось делом вовсе не сложным.

«Недолго нам маяться, как сядем на вольную землю, сразу по-другому всё пойдёт!» – рассуждали будущие пересе-

ленцы. Не так вышло на поверку...

Уже продажа наделов защемила сердце тоской, а когда эти наделы стали готовить к посеву новые хозяева, то многим стало совсем не по себе. Даже полученные деньги нисколько не утешали.

Распродажа скота вовсе расстроила привычную жизнь крестьян и поселила в семьях наследственных хозяев жуткую пустоту. Многие хозяйки в голос выли, провожая из дворов овец и коровушек, а мужики с подавленными вздохами передавали поводья лошадей новым владельцам.

«Эх, хорошо ли мы делаем, проматывая добро, – мелькала при этом у многих опасливая мысль. – Как-то наживать придётся?..»

Шлеи, хомуты и разная хозяйственная утварь пересматривались по несколько раз, прежде чем разрешался вопрос: продать или оставить, везти с собою или бросить?..

С Рождества в избах переселенцев поселилась непривычная бездельная скука. Продажная горячка упала, остались только пустяки, и времени некуда было девать. Кто имел запасы корма и придержал скот до весны, те ещё работали, суетились, хотя и не по-настоящему, и оторванности своей от исстари сложившейся жизни не чувствовали; а тем, у кого ничего не осталось, времени некуда было девать. Мужики от скуки и досады попивали, а бабы слонялись по соседкам, облегчая тоску выражением надежд на будущее и жалобами на настоящее.

Зима кое-как прошла, как проходит всё в этой жизни. От ходоков получены были последние указания, как ехать и что брать с собою. Получены были и все переселенческие бумаги. В последний

раз собрались на сход переселенцы – представители от тридцати восьми дворов и одиночка, парень Ванюшка, – и назначили время отъезда.

Ванюшка своего хозяйства не имел и ехал в далёкую Сибирь, как объяснял он в селе, «по своим особым причинам». Причины же эти в действительности состояли в его затаённой любви к красавице Насте, дочери уезжавшего Сидора Хлопунова, без которой он чувствовал себя одиноким.

Сидор считался богатеем и ехал на чужбину вовсе не из нужды, как другие. Земли у него было, правда, немного, но издавна арендовал десять десятин у помещика и обрабатывал её со своими тремя сыновьями. Кроме того, он занимался извозом на соседнем стеклянном заводе и вёл большое хозяйство. Сельчане его почитали, дважды выбирали в старосты и метили даже в волостные старшины, но Сидора не привлекала общественная деятельность; он больше тянулся к своему хозяйству и мечтал о полной независимости, о собственном достаточном куске земли. В Сибири он должен был получить четыре надела – сто двадцать десятин, и это заставило его решиться на переселение. Он-то и подбил к исканию доли на чужбине горемык-сельчан.

Настя была его единственной дочерью. Она с похвальным листом окончила земскую школу и считалась завидной невестой, но ей было всего шестнадцать лет, и поэтому о замужестве её родители пока не думали.

Ванюшка полюбил её ещё подростком, год тому назад, когда ему самому было всего восемнадцать лет, но полюбил, как и сам себе сознавался, безнадёжно. Не для него, голяка, растил её богатый Сидор. Правда, в селе его любили, как лучшего

грамотея и обстоятельного работника. Вином он не баловался, от труда не бегал, имел даже на книжке в сберегательной кассе сто рублей и всегда одет был щёголем, но это всё-таки не делало его хозяином и далеко не равняло с Сидором.

Был и собой он пригожий парень: кудрявый, чистым лицом и весельчак. В компании сельской молодёжи он являлся первым и лучше всех в селе играл на своей «трёхрядной» гармонике. Любая девушка ответила бы на его любовь, но он думал только об одной Настюше – серьезной и сдержанной.

У него, внука дворового, не было наследственного надела. Его отец, остававшийся до смерти на сверхсрочной службе фельдфебелем, вовсе отбился от родного села, и Ванюшка вернулся домой с матерью-вдовой, не имея даже куда преклонить голову. Приютил их вдовый дядя, брат матери. Ванюшке было тогда тринадцать лет, и с учением он уже покончил. Сознавая своё положение, он не хотел даром чужой хлеб есть, если бы это и было возможно, и с первых же дней постепенно стал входить в хозяйство. Через два года он был уже настоящим работником наряду с более взрослыми двоюродными братьями, да еще на досуге плотничать и кузнечить научился.

С семнадцати лет он стал ходить на завод работать, чтобы иметь своё и помогать матери деньгами. Сметливый, ловкий и усердный, он и тут быстро разобрался в деле и стал зарабатывать не меньше опытных работников.

Достаток и уверенность в себе развернули в нем силы душевные, и он стал смотреть на жизнь бодро и смело: будни работал, а на праздники являлся домой, к матери, отдыхал от трудов, сам веселился и других веселил. Вместе с тем он не мог не пони-

мать, что в селе он всё-таки не полноправный член, что у него нет настоящей связи с ним, главного корня – земли, что он не хозяин, а работник-чужак. Смел ли он при таких условиях думать о дочери зажиточного хозяина? Ровня ли он такому тестю? Правда, деньги на покупку земли он копит, но скоро ли накопит при настоящих ценах для достаточного куска? Настя должна уйти от него к другому, более счастливому, а что ему без неё и земля, и хозяйство, и полноправие?!.

Открылся он во всём любимой матери, но старушка только попечалилась с ним, а утешенья настоящего дать не могла.

– Молод ты ещё, Ванюшка, соколик мой, и в твоей жизни все может еще обернуться! Работай, не тужи и молись Богу. Царица небесная, Заступница наша, не оставит тебя, сироту... а с Настей всё-таки поговори. Может, она и упросит отца, если ты люб ей...

Но Ванюшка знал, что Сидор, самолюбивый мужик, ценит только обстоятельных людей. Работники в дом ему не нужны – своих много, поэтому дочь он отдаст только за хорошего хозяина в приличный дом или за местного учителя, фельдшера или ещё какого земского человека. И возьмут, и как ещё погонятся за такой-то! Нет, и говорить нечего...

Но Настя своим сердцем девичьим сама давно угадала тайну Ванюшки. Угадала и ещё больше замкнулась, может быть, застыдившись про себя. Реже стала показываться там, где он, но когда показывалась, то уже поглядывала на него не по-прежнему и не так, как на других. А дома нет-нет да и задумается, да так, что и для домашних станет приметно. А то в поле, в лес уйдет одна и бродит

там и думает какую-то думу. Матери Ванюшки и его дяде при встречах стала кланяться ниже и здороваться с ними приветливее, но самому Ванюшке и виду старалась не подавать. Другой, опытный парень, верно, и сам догадался бы, что тут что-то не так, не простое отношение, как между всеми, но Ванюшка пока не мог разбираться в чужих задних мыслях, а откровенного разговора с девушкой и боялся, и стыдился. Балагур с другими, даже со стариками, перед нею он робел и прятал свою робость за какой-то глупой напускной важностью. С иной, более подходящей ему, он, конечно, не поступал бы так, но тут чувство личного достоинства, приниженного горькой долею заводского работника и дядиного батрака, побуждало не переступать известной границы, чтобы не нарваться на оскорбление.

Проходили месяцы. Настя уже достигла того возраста, когда девушки обычно выходят замуж. Стала ещё осанистее и дороднее. Любовь Ванюшки возросла, а с нею возросла и робость перед обожаемой «не парой».

Но вот по селу прошел всполошивший всех слух, что зареченцы, все тридцать восемь дворов, с Сидором Хлопуновым во главе, порешили переселиться на Амур. Ванюшку, узнавшего об этом в первый же субботний вечер, при появлении в селе, эта весть сначала больно хлестнула по сердцу, а потом сразу же окрылила, обрадовала. Ведь если здесь, в старой жизни, он не пара ей, то там, в новой, далёкой, откуда знать, как сложится дело? Среди зареченцев соперника у него не будет, это он знает. Надел ему дадут, и он станет хозяином. Почему же тогда Сидору не отдать за него дочь, если та захочет?..

«Только бы с нею поговорить! Теперь уже можно и нужно это сделать!» – созрело у него храброе решение.

«А мать? С нею как? Бросить одну?.. – родилась вдруг тревожная мысль, но он сейчас же стал её гнать. – Бог даст, устроюсь хорошо и перевезу её к себе. Она благословит. Лишь бы с Настей обо всём условиться, узнать...»

Лето было на исходе. С уборкой хлеба в поле справились, и сельчанам стало свободнее. В праздники не приходилось уже работать. На другой день Ванюшка решил повидаться с красавицей и всё выяснить...

Полный противоречивых мыслей, сомнений, надежд и мечтаний, лег Ванюшка спать, ничего не сказав матери.

Ночь прошла почти без сна. Всё представлялась встреча с Настей, откровенный разговор с нею и её ответ. Припоминались её случайные взгляды и речи и разгадывалось значение их.

«Что же будет и чем всё это кончится?» – в сотый раз беспокоился он. Ждёт ли его счастье на чужбине, не далёком Амуре, с любимой женой, или он останется один и уже не только без надежд, но и без утешения, без матери рядом...

Только под утро утомлённый бесплодными думами, с встревоженным сердцем заснул Ванюшка. Во сне ему чудилась будущая новая жизнь. Он хозяин. У него, как и у других новосёлов, новая изба, построенная из вольного леса, просторная и светлая. На крытом тёплом дворе скот – его скот: лошади, коровы, овцы. Но он один, а Настюши как будто и не существует на свете или он забыл про неё. И странно ему, что он, мужчина, справляется

один и с мужским, и с женским делом. Но на сердце хорошо: тихо, светло и радостно,

– Ванюшка, Ванюшка! – будила его мать, тряся за плечо. – Вставай, соколик. К обедне зазвонили, помолись пойди...

Ванюшке трудно было оторваться от заманчивого сна и вернуться к своей неопределенной действительности. Он мычал что-то про себя и пытался перевернуться на другой бок, чтобы досмотреть дивную грёзу.

– В церковь ты хотел сходить, вставай! – продолжала будить мать.

Слово «церковь» что-то напоминало сонному мозгу Ванюшки и сразу прогнало пьянящую дремоту. Он с вечера думал, что пойдёт в церковь и увидит там Настю. Может быть, на обратном пути и случай поговорить подвернётся...

– Звонят? – спросил он, соскакивая с приютившей его на ночь лавки.

– То-то, что уже!.. Не выспался? Ночь-то всю ворочался, слыхала я...

Взрослые домашние уже повставали и справлялись во дворе со скотом. В печи весело потрескивал огонь. В открытые окна светился красноватый, яркий свет раннего утра. Где-то блеяли овцы, лаяла собака и трещал сухой ворот у колодца. Над селом плыл отрывистый, дрожащий гул церковного колокола. Всё такое знакомое, обычное, но всегда милое, радующее сердце и волнующее его наплывом каких-то особенных чувств.

Ванюшка быстро оделся во всё праздничное, наскоро умылся, расчесал кудрявые волосы и поспешил на церковный зов...

По улице уже тянулись наряженные богомолы.

Обгоняя, Ванюшка молча приветствовал их и спешил вперед, как бы боясь опоздать. Насти не было видно.

«Припоздала или вовсе не придет?» – задавался он невольным вопросом.

Она вовсе не пришла. Он стоял у входа и видел всех, находившихся в храме. Сидор явился со старшим сыном и младшей золовкой. Значит, ждать нечего. Где же тогда встретиться? Откладывать на неделю нельзя – и самому тягостно, и опоздать можно: когда подберутся будущие переселенцы уж окончательно, то к ним, пожалуй, и не пристанешь...

Ванюшка слушал церковную службу, а его мысли были далеко от храма. Он ловил себя на этом, стыдил, но побороть непокорное сердце не мог.

«Лучше уйти, чтобы не грешить», – решил он и, простояв едва половину обедни, виновато вышел из церкви сначала в ограду, а потом и за ограду.

Утро было тихое и ясное. Солнце уже поднялось высоко и начинало припекать. В селе не заметно было никакого движения. Кто не занят был спешной домашней работой, тот находился в церкви, и сельские улицы пустовали. Только детвора кое-где копошилась, да изредка мелькала фигура хозяйки в подоткнутой паневе, торопившейся с ведром в руках к колодцу или от колодца.

Алёхинский храм находился посредине трех частей села, на большой площади, примыкавшей к левому берегу реки Песчанки. С этой стороны раскинулись коренные части – «Барская», где некогда, в крепостные времена, жил владелец алёхинцев с многочисленней дворней, и «Крестьянская», а на противоположной – в одну линию

вытянулось уже впоследствии образовавшееся «Заречье». Тут обитали самые бедные сельчане, преимущественно арендаторы барской земли, По «Заречью» через мост, бывший за церковью, шла дорога на стеклянный завод. Справа от него расстилались заливные луга, а слева, по косогору, в бесконечную даль уходил густой старый лес. На его опушке в летние праздники алёхинская молодежь устраивала гулянья.

Выйдя за церковную ограду, Ванюшка приостановился в нерешительности. Возвращаться домой до конца обедни было неудобно. Идти по улице, мимо дома Сидора, в надежде увидать Настю, – неловко в такую пору, когда все в храме. А время убить надо. Но что же делать? Подумав с минуту, он двинулся через мост и свернул к лесу,

«Там нынче никто не увидит, – рассудил он. – Можно посидеть и мыслями раскинуть без помехи...»

В лесу, под сводами старых сосен и берез, было тихо и радостно. Воздух был лёгкий и ароматный. Листья нежно шептали какую-то сказку о большом и светлом людском счастье. Слушая её сердцем, о себе уже не хотелось думать; хотелось мечтать о том, чего не бывает в тяжелой человеческой жизни и что так необходимо человеку, чтобы не скорбеть, не выбиваться из сил и спокойно проходить свой земной путь.

Ванюшка поднялся лесом на косогор и спустился в котловину. Здесь, на устилавших землю старых листьях берёзы и иглах сосны, ещё не обсохла роса. Воздух был влажный. С одной стороны котловины выступали поросшие мхом гранитные скалы и лежали отдельные глыбы камня. Дальше не хотелось идти, и Ванюшка присел на одну из них.

Снова поплыли мысли, но уже думалось не о

настоящем, а о прошлом, о седой старине Руси. Вспомнилось сказание о былом богатстве ещё вольных и не совсем мирных предков алёхинцев, о богатых кладах, которые они зарывали в этом лесу при закреплении под барское начало.

«Найти бы один! – соблазняла Ванюшку заманчивая мысль. – Не надо было бы и на чужбину идти за счастьем... Хоть бы небольшой, чтобы купить земли, завести хозяйство и стать настоящим крестьянином. Тогда не зазорно было бы свататься к Насте...»

Сухие ветки давно уже трещали под чьими-то шагами на верху котловины, потом их треск стал раздаваться и в самой котловине, но Ванюшка, как бы приросший к серому утёсу, сидел на своем камне и, увлеченный своими мечтами, не слышал их, но затем вдруг вздрогнул и привскочил, когда почти над самым его ухом раздалось испуганное восклицание:

– Ах!..

Ванюшка вначале ничего не понимал и стоял опешив, думая, что видит перед собой привидение – милое, дорогое привидение. Стояла и Настя перед ним, не с испугом, а с удивлением и смущением глядя на парня.

– Настюша! – ринулся к ней Ванюшка, не отдавая себе отчета во внезапных действиях и смело беря её за руки. – Настюша!..

Девушка не сопротивлялась; она склонила голову на волнующуюся грудь, смущенная, зардевшаяся.

– Настюша, родная!.. Из-за тебя я и пришёл сюда, о тебе думал. Давно люблю, но сказать не смел, боялся... Жизни без тебя не надо мне!..

Любишь? Скажи же: любишь?!..

– Люблю, Ваня! – гордо подняв голову и прямо смотря парню в глаза, ответила девушка. - Тоже давно люблю, но ни себе, ни тебе не на радость... Боролась со своим сердцем, старалась отогнать мысли о тебе, но не могла, не справилась. Всем сердцем полюбила, но отец...

– Я знаю, что он не отдаст тебя за заводского батрака!

– Не об этом речь. Может быть, и отдал бы, когда бы я просить стала. Одна я у него, и любит меня он. Да и ты не какой-нибудь, всё село знает... Но теперь он на новоселье идёт, в Сибирь проклятую, и не оставит меня здесь. Да и мне как оставить отца родного с матерью...

Настя снова опустила голову на грудь и потянула конец головного платка к глазам.

– Да мне только знать надо было, люб ли я тебе? Я же на край света пойду за тобой! Я уже решил переселяться со всеми вашими, да только не знал, как ты!..

– Переселяться? С нами в Сибирь идти?.. Ванюша... Правда ли?.. А мать как же? Ее оставишь?..

– Оставлю, Настя, коли на то идёт! Сын я ей! Любит она меня и благословит!.. Она знает всё! Её дело старое, а моё – молодое. Века моего не заест, да и не на тот свет я отправляюсь. Жив буду, устроюсь на чужбине с тобой, возьму и её туда...

Домой Ванюшка вернулся уже поздно, когда домашние отобедали. Мать только взглянула на сына и сразу всё поняла. Она ни одного вопроса не задала Ванюшке, по виду его догадавшись, что он нашёл своё счастье – большое, светлое. Отвернувшись в угол, она незаметно перекрестилась и прошептала благодарственную молитву Заступни-

це сирот. Она и предположить не могла, что её сын не даром получает своё счастье, что дорогую жертву приносит он за него жестокой, неумолимой судьбе и что эта жертва – разлука с нею, родной, любящей матерью, для которой ничего уже на свете не осталось отрадного, кроме него, сына, соколика.

Ванюшка теперь почувствовал свою глубокую вину перед матерью. «Благословит ли? Благословит ли искренне, от всего своего старого, любящего материнского сердца?» – заползло ему в голову тяжёлое сомнение, перебралось в грудь и стало кусать, как змея.

Настроение его сразу изменилось, и свет счастья в глазах сменился печалью.

Мать подала ему обедать.

Никого из домашних в избе в это время не было.

– Покушай, сынок! Не ел ведь ещё нынче, проголодался, поди...

Ванюшка, сдерживая в груди борющиеся чувства, сел было за стол и потянулся за ложкой, но потом, взглянув на мать, на сей раз уже как-то пугливо съёжившуюся, вскочил из-за стола и бросился перед нею на колени.

– Матушка, прости меня окаянного! Не совладал я со своим сердцем и отчурался от тебя, в Сибирь порешил переселиться себя ради...

Старушка на минуту вздрогнула и побледнела. Потом краска покрыла её истомленное лицо, а на ресницах задрожали две светлые слезинки. Она положила руку на голову сына и каким-то просветлённо-радостным голосом ответила:

– Дурачок мой! Ну и чего же? А разве даром оно, счастье-то, дается? Оно, что клад, заклятья требует, а так его не возьмешь!.. Только тут твоей печали

не должно быть. Не из строптивости ты решился на разлуку со мною, а по судьбе... На то воля Божья, и без неё ничего не бывает... Встань, встань, соколик! Присядем, вот, на лавку и поговорим ладком, а вперёд покушай. Не думай о старухе: моё уже прошло.

Ванюшка, ободрённый словами матери, встал, но за стол не сел и от еды окончательно отказался. К матери он чувствовал теперь, кроме любви, глубокую и горячую благодарность.

– Но я, матушка, ненадолго расстанусь с тобою. Как обзаведусь, так и возьму тебя, – сказал он ей с глубокой верой в правду слов своих.

– И возьмёшь, родной, возьмёшь. Я знаю, что возьмёшь! – в тон ему ответила старушка.

Зиму только одну перебьюсь без тебя, пока с постройкой покончу – лес там, говорят, вольный – и обсеюсь. И вместе поехали бы, да на первых порах трудно тебе будет...

– А я подожду, подожду, родной Ванюша! Чего торопиться так? Без хлеба здесь не останусь...

– Только вот ещё что, – перебил её сын. – Возьмут ли меня с собою новосёлы, бесхозяйного?

– Отчего же не взять? Ты – нужный человек. И способный к делу всякому, и грамотный. За писаря по нужде будешь... А я ещё вчерась, когда прослышала, что наши с Сидором переселяться в Сибирь порешили, то подумала: вот бы и Ванюше моему ехать. Там-то, на чужой сторонушке, все поравняются, и для Насти не будет лучшего жениха... Так она-то, говоришь, согласна?

– Согласна... И о тебе сокрушается, что останешься ты одна... на время.

– Спасибо ей! Что ж, она девушка хорошая,

приветная! Будет тебе женой не балованной, заботливой, а наше дело старое...

В избу вошёл дядя, неся с собою для починки старый хомут. Перемена в обычном настроении сына и матери была слишком заметна, и он не мог теперь не остановить на них пристального, удивлённого взгляда.

– Али что случилось? – спросил он одновременно обоих.

– Случилось, Василий-братец, случилось! – ответила сестра и посмотрела на сына, как бы спрашивая его: говорить или нет.

– В Сибирь собираюсь переселиться, дядя! – решительно ответил Ванюшка.

– В Сибирь?.. А тут что же тебе? Голодно, что ли?.. Зачем она тебе, Сибирь-то? Нужды хочешь хлебнуть аль света посмотреть?..

В Сибирь даром не ходят. Туда дорога только голодному, беспутному или жадному...

Василий с минуту при общем молчании подумал и потом добавил:

– Выходит, как будто так, что ты, парень, за Сидоровой дочкой идешь... Что ж, по одинокому делу это ничего, простительно, а только ты не одинок, у тебя мать!.. Помирать станет и глаз закрыть некому будет, благословение некому дать; а коли я вперед помру, так и горя хватит...

– Не болтай зря! – с несвойственной резкостью вскричала добрая старушка. – Я сама его уговорила попытать счастья в Сибири, на крестьянстве, и благословлю в дорогу! Не век на людей работать, пускай своё заводит, пускай по-дедовски живёт, на земле и для земли...

Ванюшка никак не ожидал такого жёсткого

протеста со стороны дяди против его переселения, но нисколько не огорчился из-за этого.

– Ну, пока нечего ещё подсчеты подводить! – с поддельной веселостью сказал Ванюшка дяде и, захватив картуз, направился из избы. – Может, и не так все обернётся! – заметил он, оборачиваясь уже за порогом.

Ему было жаль матери. В уме стояли слова дяди: «Помирать станет и глаз закрыть некому будет... горя хватит...» Как же быть?..

Ванюшка продолжал брести, бессознательно приближаясь к дому Сидора. Вот и знакомая изба, с тремя окнами на улицу, большие ворота с калиткой и примыкающая к ним бревенчатая стена просторного крытого двора.

Смело толкнув калитку, Ванюшка вошёл во двор и впервые в жизни поднялся по ступенькам крыльца в сени, разделявшие избу на две половины. Одна из дверей приоткрылась, и высунувшаяся из неё Настя, волнующаяся, светлоокая и всё ещё смущённая, как в лесу, указала ему дверь напротив.

Ванюшка, весело кивнув девушке, направился указанию в чёрную половину избы.

Тут, за покрытым домотканой скатертью столом, вокруг большого медного самовара, сидели сам хозяин, два его старших сына, жена и сосед Лука – веселый старик, с острой, седоватой бородкой. Он тоже переселялся и, по слухам, намечен был в ходоки. Сидор, потный от обильного чаепития, в расстёгнутой поверх рубахи жилетке, со свисавшей серебряной цепью, держал в руках блюдце с чаем, но при появлении нежданного гостя опустил его.

Ванюшка ещё в дверях низко поклонился и, стараясь оставаться беспечным, проговорил обычное приветствие:

– Чай да сахар! С праздником!..

– И тебя так же! Милости просим! – ответил Сидор, не скрывая своего удивления.

Поблагодарив, гость отказался от чая и присел в стороне на лавку.

– А то бы выпил чашечку! – настаивала дородная Петровна, жена Сидора. – Дело праздничное...

– Я пил уже, спасибо, – вторично поблагодарил гость. – Я вот к дяде Сидору по делу, – кивнул он в сторону хозяина.

Сидор, разглаживая густую темно-русую бороду с проседью, широко раскинувшуюся на крутой груди пристально посмотрел на Ванюшку и благодушно проговорил:

– По делу, так по делу! Говори, слушать будем!

– Я слыхал, дядя Сидор, – не без волнения начал Ванюшка, – что вы в Сибирь порешили переселиться, на Амур...

– Так! Похоже на это! Ну?..

– И дядя Лука идёт, и прочие зареченцы...

– И прочие. Это верно, парень! Так что тебе из этого?

– Так вот мне тоже надумалось пристегнуться к вам. Возьмёте?..

– Ты надумал?! – недоверчиво спросил Сидор. – А тебе-то зачем? Твоя теперь линия заводская, и живёшь ты, к тому же, ладно...

– Вот то-то, дядя Сидор, что не хочу оставаться на заводском положении. К крестьянству тянет, настоящей жизни хочется...

– Это ты хорошо говоришь, Ванюшка! Умно говоришь! Без крестьянства нашему брату, мужику, настоящей жизни не бывает! Земля-мать – наша опора! Что же? Переселяйся, коли так! Я думаю, чай, компания наша не побрезгует тобой. Человек ты сподручный и грамотный...

– Чего побрезгают! – отозвался и Лука. – Нужный, можно сказать, человек...

– А как же мать? – вспомнил Сидор. – Ведь ты еще несовершеннолетний? Да, а с нею как?

– Мать благословляет... – А сама, знать, у Василия останется?

– Пока у дяди, а соберусь с достатком – к себе возьму.

– Далековато, брат! Ну да это ваше с нею дело. Порешил, так с Богом, поедем богатеть на вольные земли. Это всё в наших руках, сладим... Ну, а теперь попей чайку. Коли с нами, так и впредь придётся хлеб-соль водить на чужой стороне. Там все роднее станем, потому что все там будет чужое, а может, и лихое. Дружнее пойдем – дальше уйдем. Садись к столу!..

Ванюшка теперь уже не отказывался. Петровна налила ему в чашку чая, отрезала пирога и пододвинула сахарницу.

– Кушай с Господом! – угощала она гостя.

Дверь из сеней приоткрылась и сейчас же захлопнулась. Ванюшка не видел, кто открывал её, но сердцем угадывал, что это Настя наведывалась, желая узнать, как его принял её отец...

Тем же вечером вопрос о присоединении Ванюшки к компании переселенцев решён был окончательно, а потом потянулись для него, как и для других, ставших для деревни отрезанными

ломтями, дни ожидания...

Но вот наконец выступление в далекий путь.

Было тихое, радостное апрельское утро. Весна уже пришла, снег на полях сошёл, и на пашнях зазеленели озимые. На лугах также уже пробивалась трава и пестрели ранние цветочки. К церкви Алёхина с разных сторон села тянулись подводы, гружённые разным домашним скарбом и сопровождаемые плачущими бабами и вприпрыжку бегущими детьми. Это переселенцы стягивались к сборному пункту. Все село провожало их на новое житьё, в далекую, неведомую сторонушку.

Собираясь, народ разбивался на кучки и горячо обсуждал разные вопросы, связанные с переселением. Передавались разные слухи и вычитанные из книжек сведения о сибирских угодьях. Многие, особенно молодые и грамотные, относились подозрительно к сибирским благодатям... Другие, наоборот, завидовали переселенцам, идущим на земельный простор, и просили их обстоятельно написать, что и как там окажется на деле.

Сами переселенцы, в первую очередь мужчины, держались теперь особняком и были угрюмо-сосредоточены, точно приговоренные. Бабы, прощаясь с соседками, голосили и причитали, словно на похоронах. Ванюшка всё время оставался около матери. Старушка храбрилась, но её глаза были красны от слёз, и веки припухли.

Вдруг появился приходский священник, молодой, но серьезный, отец Павел. Впереди него шёл сторож с ключами открывать храм.

Начался молебен в битком набитой церкви. Потом отец Павел, напутствуя отъезжавших, сказал им большую речь о значении их труда на

ещё невозделанной и дикой земле, о том, что должны они оживить эту часть Руси, создать там могучий оплот своему великому отечеству и облегчить своим добровольным уходом положение остающихся. А этих последних призывал к помощи уходящим, как братьям, возложившим на свои плечи крест общего блага.

Речь священника прерывалась завываниями баб, уходящих и остающихся.

Когда молебствие окончилось, началось последнее прощание. Тут уже происходило нечто прямо-таки жуткое! Лишь сейчас переселенцы поняли, что значит отчизна, родное село, где они родились и выросли, где остаются могилы их отцов и дедов, где каждый кустик, каждая былинка своя для них, близкая...

А там, впереди, их ждёт всё чужое и, может быть, неприветное. Чужая даль, чужие люди. Всё придется заводить, создавать, закладывать фундамент будущей жизни для детей и внуков, и неведомо ещё, удастся ли это? Не пропадут ли даром все труды и мытарства? Ведь нередко слыхать приходилось, что переселенцы возвращаются назад из Сибири нищие, измученные. Но прежде, когда была мирская земля, было куда возвращаться, мир снова принимал, а нынче стали собственники, и купившие землю уже не вернут её продавшим... Выходит, значит, что о возврате нечего думать.

Эти мысли теперь всех волновали и у всех вызывали жуткое опасение за будущее. Даже Сидор, повесивший на шею под рубаху туго набитый мешок со сторублёвками, утратил свою сановитость и уверенность.

Но два человека в общей толпе опечаленных людей не поддавались унынию и прятали в глубине

своих сердец самую подлинную радость. Это Ванюшка и Настя. Только в новой жизни, при новых условиях, их дороги могли сойтись, и они, вступая на порог этой новой жизни, были довольны.

С матерью Ванюшке очень жаль было расставаться, но его утешала глубокая вера в непродолжительность этой разлуки. Поддерживала его и Настя в этом. Более она уже не стеснялась перед людьми обнаруживать свою близость к нему, что парню было очень лестно.

Провожающие натащили уезжавшим всякой снеди на дорогу: ковриги хлеба, пшено, яйца, молоко в бутылках и даже сало. Главную их поклажу на возах составляла пища. Проводы были самые сердечные, так как все сознавали, что провожают своих людей в другой край навеки. Тут уже сердца открылись, и для скупости не было места. Их и везли до станции на своих подводах даром. Как бы человек ни загрязнял свою душу в повседневной жизни, а всё-таки в важные моменты она просветляется, очищается от всякой скверны и делается способной на самые великие подвиги добра.

Проводы затянулись до полудня. Наконец Сидор, выбранный переселенцами в качестве старосты, объявил, что пора трогать. Поезд со станции хотя отходил только в полночь, но ехать надо было без малого сорок вёрст, да и на станции ещё предстояло немало хлопот... Потянулись друг к другу с последними поцелуями. Подводы с вожатыми тронулись вперёд, а весь народ шёл за ними гурьбою – и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины.

Сельчане, по обычаю, провожали уезжавших до околицы. Тут ещё раз приостановились и снова стали прощаться и обмениваться напутствиями, а

затем алёхинцы частью остались на месте, частью потянулись назад в село, а переселенцы отправились вперёд, временами оглядываясь, маша шапками и руками.

Детей посадили на возы, а взрослые шли пешком, протянувшись длинным обозом.

Теперь уже связь с оставшимся позади селом порвалась окончательно, навсегда. Нет больше родного села, нет ни земли, ни даже избы; там теперь всё чужое...

Ванюшку хотел везти сам дядя, но случилось так, что за него поехал старший сын. Так как поклажи у парня было немного – сундук с одеждой да мешок с харчами, то воз доложили имуществом Сидора. Мать Ванюшки провожала его до станции и тоже ехала на возу. Шли переселенцы сначала семьями, держась каждый около своих, но потом смешались. Пристававшие садились на возы, где полегче. Насте пришлось сидеть рядом с матерью Ванюшки. И та, и другая были рады этому обстоятельству – можно поговорить и поплакать вместе.

Во встречных селах на алёхинских переселенцев крестьяне выходили поглазеть как на диво и провожали их глубокими вздохами.

– На Амур? – кричали некоторые.

– На Амур! – отвечали с обоза.

– Дай Бог пути и доли!

– Спасибо!

Наконец впереди засверкали, как свечи, огоньки станции. Сначала они были маленькие и тусклые, а потом стали расти и становиться ярче, разделяясь на цвета – жёлтые, красные, зеленые.

Первые возы остановились; другие стали съезжать в сторону и тоже останавливаться около

станционного здания.

Ванюшка пошел искать Сидора. Тот стоял, уже окруженный группой мужиков.

– Стало быть, перво-наперво к начальнику станции, – раздался его голос.

– Ну вот и иди, с писарьком иди, чтобы честь честью, – ответил ему голос в темноте и сейчас же крикнул: – Ванюха! Ванька!..

– Тут! – отозвался подходивший Ванюшка.

– Поскольку ты за писаря у нас, так вот и иди со старостой Сидором к начальнику станции, чтобы всё разузнать, – предложил кричавший. – А мы тута пока подождем...

Ванюшка с Сидором выделились из толпы и пошли искать начальника станции. Жандарм направил их к дежурному по станции. Тот потребовал бумаги, осмотрел их и, сказав, что через час выдаст билеты до Сретенска, напомнил, чтобы приготовили деньги. А поезд поедет в двенадцать часов пять минут, посадка же будет в одиннадцать тридцать, ждать полтора часа...

Станционное здание было маленькое, тесное и вместить всех переселенцев не могло. Часть их осталась снаружи, в темноте. Дежурный распорядился поставить на крыльце два фонаря.

Развязали мешки с хлебом, достали чайники, добыли кипятку и занялись едой и питьём чая. Дети за дорогу успели выспаться на возах и теперь проголодались, как галчата. Не уступали им в аппетите и взрослые.

На первом этапе по пути к новой жизни оказалось всё гладко. Как-то будет впереди?..

Едва покончили с едой и увязались, как Ванюшка, всё время наведывавшийся на станцию «для

большей верности», принес билеты, а потом заявил, что и поезд готов.

Переселенцы потянулись с мешками и ребятами через станцию на платформу, а оттуда к указанному стоявшему на путях длинному поезду. Вагоны были товарные, закрытые и запломбированные, но вот и их три вагона, с чёрными пастями открытых дверей и с надписью над каждой из них: «Сорок человек или восемь лошадей»...

Кондукторы зажгли в вагонах маленькие масляные лампы, тускло осветившие грязную внутренность с нарами, и началась посадка. Оказался маленький излишек, но он падал на детей. Ванюшка поместился в одном вагоне с семьей старосты Сидора.

Когда разложились, заполнили узлами, мешками и детьми весь вагон, с верхними и нижними нарами, взрослые вылезли, чтобы сделать в станционном буфете последние покупки и потолковать напоследок со своими провожатыми.

Тут время уже прошло в суете. Скоро раздался первый звонок, и переселенцы стали торопливо собираться, боясь, без привычки, опоздать. В тихом полусвете станции прозвучали торопливые поцелуи и слова добрых пожеланий. Мать Ванюшки, казавшаяся окаменелой, в последний момент не выдержала и громко зарыдала, прижимая сына к груди; заплакал и он, целуя матери лицо и руки.

После второго звонка кондуктор закрыл в вагонах двери, заложил их цепочкой, оставив лишь небольшую щель. Отталкивая друг друга, её заполнил ряд лиц, устремивших прощальный взор на родную сторонушку. Но сейчас же раздался и третий звонок. Воздух прорезал пронзительный свисток главного кондуктора, ему ответил

протяжный гудок паровоза, впереди на путях затрубил в рожок стрелочник, и поезд, тяжело пыхтя, тронулся. Станция поплыла назад.

Поехали!..

– Прощайте! Прощайте! – неслось с платформы к вагонам и от вагонов к платформе. Проехав станцию, пассажиры начали укладываться на ночлег. Поезд, громыхая, резал темноту ночи, уносясь всё дальше и дальше...

Глава 2

Тяжела участь сибирских переселенцев вообще, а в пути к месту в особенности; долгие, бесцельные стоянки на станциях, отцепки и прицепки к поездам, теснота, грязь и духота в вагонах, и питание почти сплошь хлебом с чаем. Многие дети были больны, взрослые истомились и осунулись.

Только на восьмой день странствующие алёхинцы добрались до Челябинска, где можно было отдохнуть. Здесь уже переселенческое управление проявляло свою заботу о переселенцах. Около станции были нарочно построены бараки для них и больница с бесплатной помощью, можно было и горячей похлебкой раздобыться и кашки сварить.

Дальше по Сибири ехать было легче. В вагонах не было такой духоты, как прежде, потому что здесь, несмотря на вторую половину апреля, не везде ещё и снег сошёл. Воздух был лёгкий, прохладный. Впрочем, так было и на Урале, когда пересекали его по пути к Челябинску. На горах и в ущельях, среди вечнозелёных сосен, сплошь пестрели залежи грязноватого серого весеннего снега, хотя реки уже шумели мутными водами среди узких ущелий-долин.

На сибирских станциях везде можно было находить и дешевую снедь: за пятак бутылку молока или пирог с мясом, за гривенник - порядочный кусок горячей свинины или говядины, жареная курица стоила всего четвертак или, много, три гривенника. Так же недорога была и дичь. Здесь, до самого Красноярска, старые переселенцы осели уже довольно густо и укрепили свои хозяйства на удобных лугах. К поездам было что выносить на продажу и цену не завышали.

За Красноярском положение уже менялось. Тут больше процветало скотоводство и маслоделие. Громадные пространства ровных енисейских степей большею частью не годились пока для переселенцев, потому что не было на них подходящей для людей питьевой воды, залегавшей глубоко в земле; их сдавали в аренду богатым скотоводам, русским и заграничным. Население вблизи железной дороги было редко, но дальше, к Иркутску, опять шло почти по-старому. Около станции развёртывались местами громадные сёла, больше, чем некоторые наши уездные города. Крестьяне были сплошь народ зажиточный. Многие, кроме хозяйства в селе, имели, верстах в пятидесяти, свои заимки – хутора, обнесенные изгородью, где были пашни и сенокосы. Устраивать эти заимки, как, впрочем, и все наделы, в старину было нелегко. Надо было рубить и корчевать густой тяжелый лес, а то еще и канавы рыть для осушки болотистых мест. Много труда было положено отцами и дедами, много поту было пролито, зато и достаток явился для детей. Теперешним переселенцам такая тяжелая подготовительная работа вряд ли под силу. Устремляясь в Сибирь, они мечтают о готовых угодьях, поэтому коренные сибиряки и

уже осибирившиеся старые переселенцы встречают их недружелюбно.

– Наши отцы трудились над землей, расчищали её, дороги прокладывали, а вы на готовое норовите? – с укором и злобой говорят они им. Особенно обижаются скотоводы-инородцы: в Западной Сибири – киргизы, а в Восточной (Иркутской губернии и Забайкалье) – буряты. У этих отводят избытки степей под наделы новосёлам, и тут из-за этого создаются прямо враждебные отношения.

Простор здесь везде необъятный, да только годных мест немного: то леса густые, то болота, то горы каменные, а главное, бездорожье и глушь дикая. Где и приспособляют землю для заселения, так норовят поближе к железной дороге, судоходной реке или к разным трактам, а в сторону далеко никто и идти не хочет. Желают, чтобы всё необходимое для себя было под рукою, а то, если случится беда какая, и помощи искать негде, не у кого...

К концу апреля алёхинцы добрались до Иркутска. Теперь они уже во многом разобрались, много рассказов по пути наслушались и многое увидели своими глазами.

На душе у всех было невесело, но поддерживала надежда на ходоков, на то, что правду они писали про отведенную им землю.

Всем хорошо никогда не бывает, но им, может быть, и хорошо будет. На Амуре, писали, виноград, хотя и дикий, растёт, арбузы сажают, ягода разная родится в лесу, а земли всем по тридцать десятин на душу отведено. Как не зажить среди такой благодати?! Только бы доехать, добраться...

Сил за дорогу уже много потеряно, кое-кто даже умер: шестерых ребят похоронили по станциям,

старуху Федосееву оставили в челябинской больнице, и из Иркутска не все уедут...

Около станции в Иркутске на видном месте доска была вывешена на шесте, с указанием свободных долей для переселенцев в разных районах. Много их, десятками тысяч указывалось. Отчего же не берут их, отчего пустуют, почему народ назад бредет? Вопросы жуткие для людей, которым путь отрезан.

Но это другие, утешали себя алёхинцы, а они возьмут, устроятся и заживут на славу! За этим ведь только и родину покинули, за этим и тянулись на чужбину... Заживут!..

От Иркутска поезд пошел сначала берегом реки Ангары, светловодной и могучей красавицы, а потом по каменным уступам и через каменные горы тёмными тоннелями вокруг озера Байкал. Красивое и дикое место! Горы вокруг разноцветными, но больше серыми, гранитными утёсами свисали к зеленой воде, ласково играющей в тишине и сердито взметающей седые пенные валы в непогоде.

Много чудесного рассказывают про Байкал, что значит, при переводе на русский язык, «Святое море». В окружности он имеет около тысячи двухсот верст, хотя ширина его не простирается больше сорока-шестидесяти верст. Узкий и длинный, он заполняет своими водами глубокую щель среди гор. По исследованию учёных, его глубина доходит местами до семи вёрст. И думают некоторые из этих ученых, что своим дном по подземному проходу в несколько тысяч вёрст он соединяется с Северным Ледовитым океаном. Этим объясняют то странное явление, что при полном безветрии Байкал вдруг разбушуется, расшумится и заходит

такими волнами, что пароход, словно щепочка, мечется по ним. На море, как говорят путешественники, такие качки редко бывают. А то зимою трёхаршинный лед вдруг ни с того, ни с сего взломается, и ледяные глыбы горами взметнутся над гладкой синей пропастью воды.

Замерзает Байкал только в большие морозы, в декабре, когда бывает сорок или больше градусов, а расходится только к маю.

Кругом в него впадает множество горных речек, большинство из которых сносит своими быстрыми водами крупинки золота. На дне Байкала, как уверяют местные жители, покоится бесчисленное количество драгоценного металла. Но его никогда не достать... Гораздо важнее для людей байкальская рыба и тюлень. От них немало народа кормится. Но население всё-таки очень редко и ютится по подножию прибрежных гор.

У истока выходящей из Байкала Ангары, около села Лиственичное, над поверхностью воды выступает, как вершина скрытого под водою порога, остроконечный камень. «Шаманский камень» – называют его буряты и суеверно уверяют, что когда сорвётся он под напором быстрых вод Ангары, Байкал затопит весь мир...

От города Мысовска, где железная дорога выходит из каменных теснин, прорезав тридцать восемь тоннелей под горами, путь идёт по открытой долине реки Селенги, приходящей к Байкалу из Монголии. Тут, до города Верхнеудинска, расположен ряд старых и больших сибирских сёл. Имеется и монастырь на берегу Селенги.

Свободных удобных земель здесь уже нет, но русский оплот силён и крепок. Только каменные кряжи остаются пока неисследованными и забро-

шенными.

Густо заселена и юго-восточная часть Верхнеудинского округа. Здесь обитают казаки, буряты и до пятидесяти тысяч староверов. Эти ещё при императрице Екатерине Великой сосланы были сюда и расселены среди глухой непролазной тайги. Но крепкие и сметливые русские люди не опустили беспомощно рук. Убедившись, что земля под тайгой хлебородная и климат для земледелия здесь подходящий, они раскорчевали вековой лес и завели богатые пашни. Всего у них – и хлеба, и мяса, и даже меду – было вдоволь.

Потом размножились они, а тут ещё казаков поселили, и явились переселенцы, да и буряты местные стали переходить от скотоводства к земледелию. Теперь у них уже ощущается малоземелье, выгоняющее их на отхожие промыслы – на рыбную ловлю к Байкалу и, особенно, на золотые промыслы за тысячу верст…

За Верхнеудинском местность возвышается, идут пески и глина, голые и покрытые лесом. Для земледельца здесь нет никакого соблазна, да и климат суровый, с ранними морозами и поздними заморозками. Только к Сретенску идёт спуск. Но тут уже место занято казаками и старыми переселенцами-горемыками, хотя и разбившими пашни по реке Шилке, на горах среди леса, но живущими разными промыслами и не всегда сытно. Урожаи бывают в три года раз: заморозки и ливни губят хлеб.

Начался уже май, когда алёхинцы приехали в Сретенск, миновав по пути областной город Читу.

Станция Сретенск, прилепившаяся к горе, против станицы, на левом берегу реки Шилки, маленькая и тесная. Станционные здания, заполнив узкую прибрежную полоску земли, должны

были выползти на гору. Там же расположены были переселенческие постройки – бараки и контора. Алёхинцы, разузнав об этом на станции, послали своих неизменных ходатаев – старосту Сидора и писаря Ванюшку – хлопотать у переселенческого начальства насчёт дальнейшей отправки.

Железный путь уже кончился, и теперь надо было плыть водой, на пароходе. Тут требовалось хорошо разузнать, что и как. Ходоки встретят их только у конечного пункта, за Благовещенском, а насчет парохода писали, чтобы решали всё сами в Сретенске.

Здесь собралось несколько тысяч переселенцев из разных мест России. Были и сибирские, из Томской губернии, которым не удалось удержаться на отведённых наделах или захотелось поискать лучшего на Амуре. Были и просто блуждающие, переменившие несколько мест и нигде не устроившиеся.

Вновь прибывшие алёхинцы жадно прислушивались к разговорам бывалых и старались по их речам угадать свое собственное будущее счастье, нынче уж недалёкое.

– А вы, бедовахи, куда тянете? – обратился к ним развязный, рыжий мужиченко, в рваных стоптанных сапогах, плисовых сибирских шароварах с цветными российскими заплатами, в какой-то бабьей кацавейке и в круглой китайской шапчонке на лохматой голове.

– А на Амур! – охотно и сразу ответили ему несколько алёхинцев.

– Знакомое дело! Бывали и мы там и хлебали горе большим ковшом...

– Плохо, стало быть?

– Сами узнаете!... Мы по дурости нашей поохотились.

В Томской губернии пять годов прожили и уже ладно обзавелись. Только с соседями нелады шли за землю: поджечь грозились, ихней земли, стало быть, прихватили нам, новосёлам. Да только бы это ничего, сладились бы, а вот по арбузам заскучали. Саратовские мы сами и к арбузам сызмальства все привычны, а в Томской губернии не увидишь их. И попадись нам книжица малая про Амур, что там, дескать, дикий виноград в лесу, орехи, а арбузы вот как растут, только семечко сунь. Начитались мы этого и давай толковать промеж себя: пойдём да пойдём, чего нам тут сидеть на холодной земле, где, окромя картошки с хлебом, ничего не родится! Немного нас, дворов двадцать. Ну и пошли!.. Земля, верно, просторная; видали и виноград тамошний, что б его свиньи съели! Арбузы первым делом посадили, думаючи, что взаправду выспеют, как наши, а не на манер огурцов... Бились два года, лишились скота до последней головы, детей без малого всех схоронили, попроелись начисто и айда наутёк, животы уносить... Тут уже легли у нас думки про Зеленый клин. Ещё дома были наслышаны про него. Ну, думаем, там дело верное будет...

– Так про Амур, стало быть, в книжках брешут? – спросил подоспевший к концу рассказа Ванюшка.

Рассказчик смерил его с ног до головы недоверчивым взором и неохотно ответил:

– Может, для кого и не брешут, а нам брехня оказалась... Вдруг для таких шустриков, как ты, и лакомо покажется там... Пошли на Зеленый клин. Дело не далекое: проходом по Амуру до Хабаровска, а там железная дорога. Пошли, значит, обхло-

потали всё, пособие получили и землю отвели нам. Ладная с виду земля, жирная, за Иман-рекой, что в реку Уссури впадает. Народ, видим, живет припеваючи. Сёла такие, что из другого одного два города выкроишь. Вот тут, думаем, и наше. Загорелась охота, душа так и рвётся к работе. Давай пахать, давай сеяться. По небольшому куску взяли для начала и посеялись. Ждём зиму. Работенка кое-какая нашлась на железной дороге, недалеко от нас. Ладно, пробились! Пришла весна. Пашни наши зазеленели; радуемся. Вот он Зеленый клин, вот где благодать! Пожалели даже, что мало засеяли, надо было бы из силы выбиться, а обхватить больше. Ладно! А потом как полезла из земли вместе с хлебом травища, как полезла - и не удержать её! Прёт, как на дрожжах. Мы туда, мы сюда. Полоть давай. Нет никакой силы! Прёт и только – и заглушила наш посев. Вот тебе и Зеленый клин, думаем! Как тут теперь быть? Бросились к переселенскому начальству. «Земля, – говорят, – жирная, потому это. Дальше лучше будет, а потом совсем очистится. Не у вас одних так. Сейте, пособие дадим». Верно, дали, – продолжал, вздохнув, рассказчик. – Народу нас немного. Рассыпались, кто куда на заработки до новой пахоты. Приспело снова время, засеяли, ждём. Зиму промыкали. Весною, верно, хлебный всход побеждать стал дурную траву. Правду говорило начальство! Подошёл май, вот теперешняя пора. Дожди пошли; идут и идут. Иман-река разлилась – да так, что даже до нас дошла. Смотрим, плохо дело! Стала посев заливать. Но ничего, думаем, недолго продержится и уйдёт, не вымоет наш хлеб; только бы землянок не залила, но они на высоком месте. А вода стоит и стоит, а потом, когда схлынула, наши

пашни болотами сделались. Вот тебе и без травы урожай!..

– А чего же вы выше не посеяли хлеб? – снова спросил Ванюшка. – Земли-то ведь не в обрез у вас было!..

– Выше! - сердито заметил ему лохматый мужиченко. – Толковый какой и сметливый выискался!.. И без тебя не дураки. На высоких местах не заливается хлеб, да только и родится с горем пополам, если не вымёрзнет вовсе. Потому-то и простор ещё на Зеленом клину остался, что дурной земли много между настоящих угодий: то болото, то высота, то заливное место; её только и получишь теперь, а добрая вся давно занята. Есть там сёла по двадцать лет. Всем хочется вблизи дороги оставаться, а не в сторону лезть, где прохода нет. Там, верно, и хорошие места, сказывают, имеются, а кому до них охота?

– Это так! – отозвался кто-то из алёхинцев. – А что же на третий раз было?

– А ничего! – ответил рассказчик. – Ушли мы. Половина осталась, что посильнее, а мы ушли... В Иркутскую губернию пробрались, назад. Через Маньчжурию проехали, это по Уссурийской железной дороге и потом по Китайской...

– А там?

– Там вовсе ничего не вышло. Деньги надобны, чтобы обустроиться в тех краях... Христовым именем да милостью начальства прожили эту зиму, а теперь снова на Амур.

– Снова?

– Только уж не селиться... Двенадцать мужиков нас да четыре бабы. Теперь мы на работу тянем, на Амурскую дорогу. Сказывали нам хорошо про

тамошние заработки. Зашибём, вот, за лето деньги, а к осени назад, в Томскую губернию. Будем там опять устраиваться, а амурские арбузы, пропади они пропадом...

Рассказ бывалого переселенца произвел сначала на алёхинцев гнетущее впечатление, но потом оно несколько рассеялось.

– Зряшный мужик! – с уверенностью заявил Сидор, как только лохматый рассказчик отошёл. – Таким нигде хорошо не бывает! Да и сами говорят, что от добра добра искали. Им бы сами пироги в рот залетали! Живёт же народ! Обзаводится!..

– Ну, да чего там! – ответили старосте из толпы. – Сами скоро узнаем!

– Допрежь надо было толком разузнать, а теперь поздно. А касательно того, что живёт там народ, так и мы жили дома!..

Переселенцев из Сретенска отправляли партиями на переселенческих баржах, с пароходами Амурского общества, законтрактованными казной. Плата была маленькая. Но некоторые, торопясь к месту, не дожидались очереди и уезжали на частных пароходах.

Плавание по Шилке с неделю только как началось. Алёхинцам надо было ждать своей очереди четыре дня, и они порешили просидеть их, а своих ходоков известить письмом о дне выезда.

Сидор тем временем стал разузнавать о ценах здешних и амурских. Оказалось, что и хозяйственные вещи, и скот выгоднее купить в Сретенске и провезти с собою на пароходе без малого полторы тысячи верст. Скот лучше всего было брать у бурят – народ такой, монгольской крови, около Нерчинска, а хозяйственные вещи в самом Сретенске –

большой, давно сравнившейся с городом станице, не обращённой в город только из-за казаков, не желавших утруждать себя лишними хлопотами. Но в Нерчинск надо было ехать по железной дороге назад, что не оправдывало расходов при покупке всего нескольких голов. Другое дело если бы все покупали, но у остальных алёхинцев было в кармане не туго и обзаводиться добром они могли только на казённое пособие, которое дадут на месте.

Потолкавшись два дня по Сретенску, Сидор купил корову с телёнком, двух лошадей с упряжью, двухколесную телегу, удобную для малопроезжих дорог, плуг и ещё кое-что. Отправлять всё это надо было на частном пароходе, с перегрузкой в Благовещенске. С покупками поехал Андрей, старший сын Сидора.

Через три дня погрузились и остальные, битком набив трюм железной баржи.

Всего отплыли две баржи, и тянул их буксирный пароход. Путешествие было не удобнее железнодорожного, но оно являлось уже последним. Еще дней десять муки – и конец. На пристани их встретят ходоки, и они отправятся «домой», на свою землю. Терпеть теперь было легче.

Соседи алёхинцев по трюму баржи тоже все ехали за Благовещенск, только до разных пристаней. Некоторые отправлялись к своим землякам, уже обжившимся и позвавшим их к себе из других краев. В некоторых семьях были только женщины и дети. Эти ехали к своим мужьям и отцам, выписавшим их к себе уже после устройства на месте.

Настроение среди переселенцев было самое разнообразное. Одни тосковали и жалели, что бросили родину; другие боялись, что не удержатся

на новых местах, и печалились из-за потери близких в пути; третьи были просто изнурены долгой дорогой с разными мытарствами и о будущем старались до времени не думать; наконец, четвертые ехали с твёрдой надеждой на ожидающее их благополучие. Среди алёхинцев были всякие.

Баржи тянулись по узкому ущелью Шилки, среди обступавших её по берегам гор. Земли за Сретенском были дикие – лес да лес, со скалистыми выступами каменных гор, опускавшихся к воде. Но кое-где по склонам этих гор попадались расчищенные среди леса пашни, только-только начинавшие зеленеть. Местами эти пашни раскинулись высоко на горах, спускались круто и везде были обнесены изгородью. На этих участках, «жилых», как говорят тут, над берегом Шилки и в ущельях впадающих в неё речонок темнели постройки изб.

Переселенцы дивились на эти горные пашни, потребовавшие столько тяжелого труда, и выспрашивали о местной жизни находившихся на баржах матросов.

– А так и живут! – ответили те. – Уродит хлеб – свой едят и ещё продадут, а нет – сами покупают. Живут, главное, заработками: зимою грузы возят. А только теперь, как пойдет настоящее движение по новой Амурской железной дороге, не выдержат, надо полагать, и сбегут. Крепкий тут народ, а трудно будет выдержать, сами говорят... Шилка наша заглохнет, а около железной дороги и приисков немногие пробьются...

Дальше стали встречаться сёла – длинные, протянувшиеся косогором по берегу. Лавок в них – русских и китайских – столько, что для города хватит. Все с проездным народом торгуют и с

приисками, залегающими в горах; но и они тоже временные. Все перейдет к железной дороге, а останется только то, что вместится там среди болот, камня и леса.

Первая пристань от Сретенска была в восьмидесяти девяти верстах – Шилкино, казачья станица, приютившая иногородних. Земли тут мало удобной, и достается хлеб тяжело. Не радуются и казаки, не то что пришлые. В основном заработки вызволяют.

Дальше, через двадцать вёрст, Усть-Кара, где была когда-то знаменитая карийская каторга. Потом, через пятьдесят две версты, – Горбица. Это село большое, торговое. Сюда выходит дорога с золотых приисков и от железной линии.

Все эти села тянутся по одному левому берегу Шилки, а на правом – сплошной лес по горам, идущим до реки Аргуни, где заселены казаки и за которой идет уже китайская земля.

За Горбицей, больше, чем на сто вёрст, жизнь вовсе приглушена. До проведения в стороне железной дороги тут были расположены семь почтовых станций, которые называли «Семь грехов». Проезжавшие зимою по льду Шилки, где шёл почтовый тракт, не всегда могли тут даже хлеба достать и запасались им из Горбицы. Своего некому было сеять, да и негде: камень и лес по горам.

Посеянный кое-где от нужды овёс для корма почтовых лошадей давал чаще одну солому без зерна. Маленький простор начинался только после станции Поворотной, а поселения вновь идут только от станицы Покровской, на триста одиннадцатой версте от Сретенска. Тут Аргунь сливается с Шилкой и образует Амур, как выше реки Онон и

Ингода образовали Шилку. В этом месте кончается Забайкальская область и начинается Амурская. По правому берегу Амура идёт китайская граница, но тоже глухая. Потом, через шестьдесят две версты, станица Игнашинская, за нею – Джалинда и бывшая крепость Албазин, устроенная высоко на верху плоской береговой горы казаками, завоевателями края. После ещё восемь пристаней и, наконец, на тысяча двести двенадцатой версте от Сретенска, город Благовещенск.

В Благовещенске – невзрачном, грязном, дорогом, но бойком и торговом городе – переселенцам не пришлось потерять слишком много времени. Только для пароходов здесь конечный путь, потому что выше ходят более сильные и глубокосидящие, а баржи могли следовать те же. Однако двое суток пришлось потратить на ожидание.

– Парохода свободного нет, – сказал на пристани агент, – что для переселенцев был приготовлен – арестантов повез, а теперь другой вызвали…

Разбрелись все – и малые, и старые – по городу, далеко протянувшемуся по берегу Амура. Против него, на другой стороне, в сизом тумане, виднелись постройки китайского города Сахалина. Китайцы возили оттуда в Благовещенск на продажу чай, шёлк, картошку, огурцы и разную зелень. Особый пароход постоянно шмыгал поперек реки между этими городами. За переезд брали всего десять копеек.

Китайцы-торговцы попадались в Благовещенске на каждом шагу и продавали всё много дешевле, чем русские купцы.

Андрей, сын Сидора, проехал уже через Благовещенск и теперь был на месте. Выехали наконец и алёхинцы. В двенадцати верстах от города в Амур

впадает большая река Зея; приходит она с севера. По ней и притокам её много богатых золотых приисков, В пятистах верстах от устья находится городок, маленький и глухой, Зея-Пристань. Дальше за ним только пешие пути, но и он зимою, когда замерзает Зея, бывает отрезан от мира. По Зее и ещё другой большой реке, впадающей в Амур ниже, – Буреe, самая лучшая в крае земля для хлебопашества. Тут уже основано несколько сот сёл и деревень, хотя и не больших, но уже прочно утвердившихся. Однако и в них население одним хлебопашеством не пробивается. Земля – больше глина и песок, урожаи неважные, скотоводства нет, луга редки среди голых скал, болот и лесной чащи. Крестьяне то лес сплавляют, то на прииски уходят, но живут сносно.

За устьем Зеи продолжается пустыня и на русской, и на китайской стороне: горы, вода и небо; местами обширные болота на равнинах; над рекою вьются стаи диких уток, гусей и лебедей.

Первая пристань – большая станица Константиновская, в сто одной версте от Благовещенска, а потом и Поярково, через тридцать восемь верст. Сюда и едут алёхинцы. Но радости и тут мало: такие же горы с мелким, но густым лесом. Но может, изменится всё к Пояркову? Смотрят, ждут, надеются...

Вот громко и протяжно загудел пароходный гудок, оповещая о близкой остановке каравана. Впереди, за изгибом реки, показались на гористом берегу постройки.

Теперь конец. Осталось только до участка добраться, – и «дома».

Пароход с середины реки повернул влево, прошёл мимо пристаней, укреплённых на воде

под горою, потом завернул к одной из них и бросил якорь. Загромыхали якорные цепи и на баржах. С парохода спустили шлюпку с матросами, державшими конец длинного причала. Через четверть часа с баржи бросили к берегу сходни. Там уже ждал народ, собравшийся для встречи.

– Наши, наши! – раздался радостный крик из группы алёхинцев.

– Дядя Лука, дед Никита, Андрей...

Ходоки казались теперь проводниками в новую, лучшую жизнь и являлись людьми самыми почётными и заслуженными.

Первым встретился и поздоровался с ними Сидор, поцеловавшись трижды крест-накрест, и сейчас же подошёл к сыну, чтобы узнать, как тот доехал со скотом и всё ли у него в порядке.

В это время Луку и Никиту обступили уже земляки. Одни здоровались, целуясь накрест по-русскому обычаю, другие осыпали нетерпеливыми вопросами:

– Ну, как? Где участок и что там?

Наконец первая суматоха встречи улеглась. К ходокам снова подошёл переговоривший с сыном Сидор.

– Так что, значит, до места тридцать восемь вёрст? – спросил он одновременно и Луку, и Никиту.

– Будет, так считают...

– А ближе к Амуру не было?..

– Да кто его знает?.. На двадцать пять вёрст берегом повсюду тут считается казачья земля, ну а наша, выходит, за нею. На казачью нельзя садиться...

– Так, так, так, – пробормотал Сидор, поглажи-

вая бороду. – Значит, и отправляться уже можно?

– А чего же! Вперед с Господом! Здесь топтаться не с руки, постой не даром. Мы и то прохарчились...

– А насчет проезда?

– Вёрст двадцать по дороге можно, а дальше целиной. Речонка там, так по бережку, косогором...

– А проехать-то как?

– Да поглядим. Сейчас время сухое...

– Так... Ну тронем.

Переселенцы, нагрузившись мешками и узлами, потянулись, вместе с другим народом, по ступенькам высокой лестницы с перилами, спускавшейся к пристани из расположенной наверху станицы. Взобравшись, приостановились отдохнуть и оглядеться. Впереди внизу вилась широкая полоса Амура, блиставшая на солнце расплавленным свинцом; позади и по сторонам – улицы станицы, с чистыми деревянными домами и лавками; дальше за станицей – лес и холмистые зеленые равнины, а еще дальше – горы, утопающие в синеве.

– Ну, будет прохлаждаться! – начальственным голосом заметил наконец Сидор. – Выберемся табором за станицу, к своей дороге, там передохнем перед путем и разберемся напоследок, что и как. Веди их, Лука, а мы с Никитой и Андреем справимся тут и потом придём.

Переселенцы снова взвалили на плечи свою тяжёлую кладь и длинной вереницей потянулись станичной улицей вдоль Амура. Местные люди печальным взором провожали их понурые и изнурённые фигуры. «И зачем они, горькие такие,

едут сюда? Чего ищут?» – читался на их недоуменных лицах вопрос.

Семейные Сидора пошли с остальными налегке, так как большая часть его имущества осталась на улице под присмотром деда Никиты. Сам Сидор с Андреем пошёл на квартиру, где тот остановился вместе со своим скотом. Через час они вернулись уже в запряженной парой двуколке, сзади которой привязана была корова и бежал телёнок.

– А это ты ладно сделал, Сидор, что со справой приехал сюда, – с затаенной завистью заметил дед Никита, поглядывая на лошадей и корову. – Я уже говорил твоему Андрею. Всем бы так надо, коли б могота была. Сразу можно за работу приниматься...

– Осилят все, – ответил самодовольно Сидор, складывая в телегу мешки и узлы.

Алёхинцы остановились вблизи Амура, верстах в двух за Поярковым. Когда подъехал к ним Сидор с сыном и Никитой, в их таборе пылали уже костры и варилась снедь. Бабы хлопотали со стряпней у огня, ребята частью рассыпались по оперившемуся уже лесу, а частью бегали по берегу Амура, где парни и девки удили рыбу.

Время подходило к полдню. Весеннее солнце светило ярко, но ещё не припекало. Воздух был чистый и лёгкий, вокруг чувствовался простор дикого приволья.

Переселенцы приободрились, и вера в найденное счастье на чужбине вернулась к ним. Теперь ещё сильнее потянуло «домой», на отведенный участок, на свою землю.

Над Амуром кружились бесчисленные стаи дикой птицы.

– Пострелять бы! – вздыхали алёхинцы, – Да не

из чего… Одной дичиной можно было бы прокормиться всем…

– А тут, сказывали, тигры водятся, – предупредил земляков Лука. - Ружьё беспременно нужно…

– Возьми-ка его! – грустно отозвался Ванюшка, считавший своим долгом находиться около старосты и отказавшийся от компании парней-рыболовов. – Ходоки в Благовещенске покупали, да не продают. Свидетельство, говорят, губернаторское подай…

– А ружье беспременно нужно! – твердил Лука. – На участке место глухое… Может, и тигр придёт. Как без ружья? Хоть бы миром купить…

– Да где купить! – нетерпеливо перебил его Ванюшка. – Говорю, хотел…

– Давеча в Пояркове почтовый чиновник двустволку за двенадцать рублей со справой продавал. Себе централку выписал, так курковое, говорит, лишнее. За двенадцать рублей…

– И не продал ещё?

– Вчера набивался…

– Дядя Сидор! Я сбегаю! – встрепенулся Ванюшка.

– Ну, чего ж! Лука дело говорит. Лишние деньги есть – покупай…

Ванюшка не стал больше расспрашивать. Раз почтовый чиновник продаёт, то он в почтовой конторе и найдёт его.

И часу не прошло, как он вернулся с ружьём через плечо и с патронташем на поясе, да еще и из кармана торчал свёрток в газетной бумаге.

– И пули есть! – весело кричал он, подходя к своим. – И дробь разная! Запасу много!..

Однако охотиться на Амуре не пришлось, так

как переселенцы уже собирались в путь.

– Дома, на участке, парень, постреляешь, – утешил охотника дед Никита.

Дорога к участку лежала по плохо наезженной колее, идущей к казачьим пашням. Немного их здесь было. Большинство земли занято было лесом, песчаными луговинами и болотами, но и удобная засевалась не вся.

– Мало тут пашут! – качали головами хозяйственные алёхинцы.

– Не в моготу убирать хлеба, – поясняли ходоки. – Место, сказывают, дождливое, а глина близко. Грязища на нивах бывает такая, что по щиколотку вязнут в ней. Машиной невозможно, говорят, жать, всё косой, руками, ну, и неуправка будет при большом посеве. Потому и пустует земля. Сеют сколько надо, чтобы хватило и чтобы под силу было убрать...

Переселенцы и тут двигались вереницей. Впереди груженая двуколка Сидора, а за нею люди с кладью. Несли своё добро не только мужчины, но и женщины, изнемогавшие под тяжестью.

К вечеру дорога окончилась, сойдя на нет у подножия горы, покрытой лесом.

– А теперь куда? – остановились алёхинцы, обращаясь к ходокам.

Кругом была уже безлюдная пустыня. Тишина царила мёртвая: ни шороха, ни звука.

– Надо бы перевалить через гору-то, – неуверенно ответил Лука. –Пешему можно пробраться леском, а на телеге не проедешь...

Телега Сидора многим внушала тайную зависть и неприязнь, «Почему он лучше всех? – думали они про себя. – Такой же переселенец, но едет, как

помещик, а мы всё на себе...»

– Ты нас веди, а не телегу! – раздалось несколько недовольных голосов.

– А я считаю так, что и заночевать пора! – сурово отозвался Сидор, но тут же спохватился, вспомнив, что ни для людей, ни для скота поблизости воды не видно.

– А речка ваша где? – спросил он ходоков, чувствовавших себя виновниками оказавшейся неприятности.

– С горы и начинается, по ту сторону, – ответил дед Никита, – Без воды, знамо, нельзя. Как без воды? Только гору вот...

– Ишь штука! Только гору... – проворчал Сидор и сейчас же решительно добавил: – Ведите мир. Я проберусь со своими и догоню. Прорубимся как-нибудь...

– А прорубаться, так стороной, – в качестве знатока заявил дядя Никита. – Седловина там есть, и мы дорогу наметили...

– Круг только, – добавил Лука, – а место сподручное.

Мужики стали толковать между собою.

– А сколько до седловины? – спросил Ванюшка.

– Версты четыре, – последовал ответ.

– А до воды?

– Прямиком с версту.

– Миряне! – обратился тогда Ванюшка к сельчанам. – Хоть молодой я, а позвольте слово сказать.

– Говори, говори! Ты – наш писарь! – раздались голоса.

– Дорога нам всем будет нужна! Верно?...

– Верно! – поддержали его в толпе.

– Так и проложим её все, завтра проложим, а теперь сходим за водой с вёдрами и заночуем здесь. До темноты успеем сходить…

– Это ты дело говоришь, Ванька, – первый согласился старик Федосей, похоронивший по дороге к Иркутску свою болезненную жену.

– Это он верно говорит, старики! Дорога эта, значит, для всех – всем и делать её. Бог даст, получим пособие – и мы облошадимся. Не одному Сидору ездить…

Возражений не было. В таборе загромыхали ведра, и группа молодежи под предводительством Луки, скрылась в лесной чаще. Сейчас же застучали топоры оставшихся мужиков, и по лесистому косогору скоро запылали костры.

– А огонь тут надобен целую ночь, – поучал дед Никита, – зверь тут, а к огню он не подойдёт. Это мы разузнали…

Первую ночь алёхинцы спали под открытым небом. Ночь была ясная и не холодная. Молодёжь по очереди караулила скот, отпущенный на вольный корм на привязи, и поддерживала костры. Добрых полночи добровольно продежурил и Ванюшка, зарядивший ружьё пулями.

Утром переселенцы поднялись при первых отблесках зари. Солнце вставало за далекими темно-синими горами и скупо золотило открытые края неба.

Молодёжь уже без провожатого отправилась по воду по знакомой дороге.

К восходу солнца подкрепились едой и тронулись к указанному ходоками месту, к седловине на горном хребте. Телега Сидора грузно катилась у подножия горы, среди кустарника и болота,

огибая выступы горы и лесную чащу. Пешеходы далеко опередили её.

Часа через полтора мужики, шедшие теперь с приготовленными топорами за поясом, принялись за работу, прокладывая просеки, ровняя рытвины и настилая брёвнами болотистые места. Но работа здесь была не очень трудная, так как не везде нужны были расчистки. К обеду дошли до перевала, а после обеда, к вечеру, спустились в отлогую долину речки, по которой можно было проехать в сухую погоду без труда.

– Теперь верст шесть-семь до участка, – пояснили ходоки.

Но уже темнело и до места было не добраться. Пришлось снова заночевать.

В долине была сочная и густая трава – обильный корм для лошадей и коровы Сидора.

– А ведь, похоже, что здесь будто благодать! – раздался чей-то радостный голос. – Только глухо, но миром, видать, ничего, жить можно…

Утром на другой день добрались наконец и до «дому»…

ОКСАНА КРИС

Поэзия

***

От доброго слова
на сердце светлей,
Как будто зарей запоет в роще птица
И даль распахнется
весенних полей, –
И вдруг вся она от росы заискрится!

И годы помчатся негаданно вспять,
И встречу с друзьями сулят нам приметы.
И хочется петь и творить, и мечтать,
Когда твое сердце стихами согрето.

Земля распахнется для щедрой любви,
Объятая музыкой ветра степного.
И радуга вспыхнет над домом твоим –
Всесильно великое русское слово!

***

Дождь с утра на дворе моросит,
Кот уснул, наигравшись, у двери.
Тишина... В зале штора дрожит
От промокшего ветра апреля.

А герань на открытом окне
Расцвела и улыбкою манит.

Словно луч приютился над ней
Молодого пурпурного мая!

Внучке

В этот тёплый день осенний
Мы с тобой, дружок, вдвоём.
Звонким смехом и весельем
Вновь наполнился наш дом.

Убегаешь – догоняю!
А запрячешься – ищу!
Моя внученька родная,
Всё с тобой мне по плечу!

Я такой же в детстве вешнем
Непоседою была,
И за пазухой, конечно,
В дом котёнка принесла.

Помню, как над ним кружилась,
Ставя миску с молоком!
Вот и ты теперь сдружилась,
Со своим озорником.

Ты играй, мой колокольчик,
Забывая обо всём.
Добрый ангел днём и ночью,
Осенит тебя крылом.

Я с утра в твою косичку,
Лучик солнечный вплету,
И споёт тебе синичка,
Про надежду и – мечту!

Светлое Воскресенье

Разбужен город суетой,
Но беспокойству – каждый рад.
Одной торжественной волной
Охвачены и стар, и млад!
Сегодня Пасхи Светлой день!
И всё меняется кругом –
Набухла под окном сирень,
И счастьем полнится мой дом.
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Всё ярче огонёк свечи…
И нас коснулся свет Небес,
Во славу Божию, в ночи!

Подснежник

У нас с тобою все как прежде –
Одни заботы и дела,
Но ты мне мартовский подснежник
Не приноси тайком с утра.

С каким усилием тревожным
Он к свету тянется из тьмы,
Чтоб на полянке придорожной
Ему обрадовались мы.

Я стану во сто крат счастливей,
Когда найду его в лесу,
Вновь рассмотрев неторопливо
Земную русскую красу.

Однажды, милый, наши внуки,
Пройдя приветливой тропой,
Заметят в снежном перламутре
Цветок, не сорванный тобой.

***

... А знаешь, уже не стану,
В разлуке с тобой грустить.
И мчаться на полустанок,
Схватив впопыхах такси.

Не буду, насквозь промокнув,
Твой зонт прижимать к щеке.
И, глядя в пустые окна,
В безумной сгорать тоске.

Твой холод мне душу ранил,
Нежданно, случайно, навек.
Уже отцвели герани,
На крышах белеет снег...

Уехал. В ночном вагоне
Ты спишь, погасив плафон.
А ветер, вновь тучи гонит,
И как же тревожен он!

***

Ты так ничего и не понял...
А я промолчала опять
В надежде, что ранней весною
Деревья для нас зашумят!

Что проку в метелях вчерашних
Искать непреложный ответ?
Когда от любви – настоящей –
И ныне укрытия нет!

***

У нас всё с тобою непросто.
Рассеялся юности дым,
А в жизни – не меньше вопросов,
Которые вряд ли решим.

Ты знаешь, любви моей сила
Совсем не избыла в душе.
Тебя я как будто простила,
И реже вздыхаю уже...

И всё же, и всё же... Порою
Мелькнёт вдалеке грусти тень.
И вспомнятся встречи весною,
Когда ты дарил мне сирень.

И вспомнится звонкое счастье,
И взгляд твой влюбленный такой...
Пусть мы над судьбою не властны,
Но будь неразлучен со мной!

Яблоки

Яблоки за сутки до зимы
Налиты каким-то чудным светом,
Преданно храня тепло земли
На продрогших облетелых ветках.

Я любуюсь ими дотемна,
Не срывая в суете поспешной.
Помнится мне добрая весна –
Лепестковый снегопад мятежный.

Я смотрю на яркие шары,
Что как будто опустились с неба.
Вечер. Громче крики детворы.
Замирает сердце перед снегом...

***

... А с годами ясней,
Что нам бог посылает любимых.
Принимаю в судьбе, всё как есть,
Всех прощая сполна.
Лишь порою грущу,
Вместе с зимнею стылой рябиной.
Видно, душу мою
Понимает по-женски она.

Не спешу обижаться,
Услышав вдруг резкое слово,
Не бегу по ступеням,
Пальто застегнув второпях.
Только где же ты есть,
Тот, кому я поверить готова?
Может, ищешь меня?
...Да живем мы – в чужих городах

***

Две жизни нам не проживать -
Одно мы счастье делим рядом.
Я это стала понимать
Сейчас, твоим смутившись взглядом.

От зноя плавится свеча.
Гудит эфир неумолимо.
С годами всё острей печаль,
И – тучи сходятся над миром.

«Ты – мой родной», – шепчу стократ.
Я от любви твоей крылата!
Мы вместе – и лучист закат,
И веет розами из сада...

ЭЛЬБРУС СКОДТАЕВ

Братство Кавказских Литератур

Курица

Трудно было найти в селе Фаранк[1] саклю беднее, чем у Минкина[2]. Даже сосед его Дзотдал[3] мог похвастаться своим ослом, хотя самым главным, даже единственным, занятием этого ишака было – отдыхать. Хозяин говаривал: «Я держу это вьючное животное, чтобы оно кричало[4], а оно мне ещё и время подсказывает!» А Минкин с женой Бураон-Туасой[5] держали в хозяйстве одну-единственную курицу. Как оказалось впоследствии, эта домашняя птица была от черных когтей до самого красного гребешка исконно нашей, дигорской. Лишнее тому подтверждение – она не несла золотых яиц.

Золото – золотом, но те яйца, что несла курица Минкина, в

[1] В переводе с дигорского «Фаранк» – «барс; тигр».

[2] «Минкин» в переводе с дигорского – «нежный; мягкий».

[3] Имя «Дзотдал» – намек на характер персонажа – «на побегушках», лакей.

[4] Есть пословица дигорская: «Держать осла только для того, чтобы он кричал», в смысле, без пользы. Интересно еще и то, что ишак обычно кричит примерно в одно и то же время.

[5] «Бураон+Туаса» - фамилия и имя персонажа: «Буравчикова+Шило».

скудные времена были бесценными для здоровья, единственным достоянием и достатком семьи, их отрадой и даже усладой. Каждый день эта пернатая проникала в огород к Дзотдалу, хотя и считала сие ниже своего достоинства. Там, за копной позапрошлогоднего, совершенно истлевшего, сена её поджидал соседский петух – хохлатый, голошейный, кривоногий и красноперый. А вечером курица откладывала яйцо в углу курятника – в ящике с задеревеневшей с прошлого года подстилкой. А не меняли ее потому, что не так-то легко было раздобыть даже охапку соломы. Несушка-труженица, зная о своем предназначении, содержала свое место в чистоте. Поскольку курица так часто несла яйца, Туаса нежно назвала ее «Райса[6]». Она постоянно твердила: «В селе Фаранк многие женщины не стоят моей курицы, поэтому она должна носить человеческое имя. К тому же, оно созвучно моему: «Туаса – Райса!».

Таким вот образом, яйца, что несла Райса, Туаса давала своим детям по очереди: сначала – младшим, потом – старшим.

Дни семьи Минкина длились подобно следу ползущего дождевого червя, оставляющего за собой извилистый черный отпечаток. Ничто сердец домочадцев не радовало. А у самого хозяина дома работы не было – кому нужен такой никчёмный работник! Поля заняты более расторопными и предприимчивыми земляками. Занимавшиеся лесозаготовками селяне даже близко не подпускали к себе Минкина. Скотины у него не было.

В селе Фаранк жизнь бурлила, никто на месте не сидел сложа руки. Деятельные люди соревнова-

[6] «Райса» в переводе с дигорского - «Возьми, бери».

лись между собой - «ну-ка, кто лучше»! А в нужный момент и поддерживали друг друга, заслужившим воздавали почести. Таким вот образом, чем дальше, тем крепче многие становились на ноги. Над теми, кто не достигал таких же успехов, кто от них отставал, односельчане подшучивали, а то и откровенно смеялись.

В последнее время селяне обратили свои взоры на семью Минкина. А людской глаз – оружие опаснее, чем быстровоспламеняющийся порох. Они не оставляли главу семьи в покое своими болезненными колкостями и едкими придирками. Когда они встречали Минкина где-нибудь на похоронах или на праздниках, по очереди донимали бедолагу насмешками:

– Минкин, Туаса ещё не продырявила твое мягкое сердце?

– Минкин, ты ничего не хочешь сказать о своей курице? Новый год приближается, неплохим угощением она стала бы на новогоднем столе.

– Ну да, а больше вы ничего не хотите? Он лучше своей головой пожертвует!

Ладно бы, надменные односельчане, но собственная супруга стала неслыханно оскорблять Минкина:

– Ты – не мужчина! Ты даже хуже, чем тряпка для пола – запачкаешь пол! Ты похож на животное, но, в отличие от него, твою голову невозможно поставить на стол[7]. Потому что у жертвенного животного на нашем столе не может быть свиного рыла, – свирепела жена Минкина.

– Бога ради, оставь меня! Сил моих больше нет,

[7] На ритуальный стол, по обычаю, ставится голова жертвенного животного (крупного или мелкого рогатого скота), свинину не ставят.

– отмахивался он от злобствующей женщины.

– А когда они были у тебя, эти силы? Когда ты что мог? Ты – никто, никто, – разъярялась Туаса. – Не зря над тобой всё село издевается!

– О, Боже, ну что мне делать?!

– Пойдём-ка за мной на кухню, я тебя научу, – Туаса в сердцах схватила Минкина за рукав изношенного свитера и поволокла его за собой так, как собака тащит вывалянную в пыли кость.

– Бери араку[8] и для начала выпей это.

– Для чего? Не буду, я же никогда не пил... Нет!.. – протестовал несчастный.

– Я тебе потом покажу, что такое «нет» и что такое «да». А сейчас делай, что говорю, – Туаса схватила мужа за шею, словно кошку, уворачиваясь от его рук, влила ему в рот стакан самогона. Тот поперхнулся. Эта волчица не дала ему даже закусить:

– Пусть от тебя хоть раз будет пахнуть, как от мужика... А теперь быстро раздевайся до пояса. На одной ноге оставь тапок, другая пусть будет босой. Лицо измажь золой, да так, чтоб стал похож на чёрта.

Минкин будто одурел и, как подвластное ветру безвольное чучело, выполнял всё, что говорила жена. Он даже не смог спросить, что, мол, ты собираешься делать со мной.

– А сейчас возьми в левую руку нож для забоя скота, он нам все равно ни к чему. В правую – колун, не упомню, когда ты колол дрова... Теперь выметывайся на улицу и беги, размахивая ножом и топором. Сейчас полночь, большинство людей

[8] Арака – самогон (алкогольный напиток из зерна), крепость около 25 град.

спит. Беги вниз по улице, затем – вверх. Одним бей по воротам колуном, другим – ножом и ори на всё село: «Вылезай, сейчас зарежу тебя!» Пускай пену изо рта, как бешеный, свирепствуй. Только смотри, и впрямь не войди в роль сумасшедшего, не ударь кого-нибудь случайно. Проклинай людей, угрожай им, кричи: «Стой, стой, тебе говорю! Всё равно догоню и убью!» Пугай их всех, гоняй по всему селу, беги за ними. Разбуди весь уставший, спящий народ. Когда селяне соберутся вокруг тебя с палками и веревками, тогда успокойся и,с понурой головой, ворча, возвращайся к себе домой!

Минкин, как и было ему велено, выскочил за дверь, и там, словно дрессированная собака, исполнил все наставления Туасы.

Наступило утро. Жители села собрались на большой Нихас[9] и начали обсуждать случившееся ночью:

– Минкин сошёл с ума, совсем рехнулся!

– Он рассудок потерял, ночью хотел убить невинных людей.

– Минкин от бедности свихнулся разумом. Чуть жену не зарезал.

С тех пор Минкину односельчане не говорили ни слова! Кто-то боялся, а кто-то вовсе не хотел с ним связываться.

– Работу ему нужно дать и помочь следует, – сказал своим сиплым голосом один из старейшин села Глухарь, корявый старик с взъерошенной бородой.

– Доверьте его мне, я присмотрю за ним, – вставил сосед притворившегося сумасшедшим,

[9] Нихас – место, куда собирались селяне для обсуждения социальных вопросов или просто для времяпрепровождения.

шелкобородый Дзотдал. Нартовской клятвой заверил он людей на Нихасе о своих намерениях. На этом все и разошлись по домам.

Туаса пересказала Минкину разговоры собрания села, сгустив от себя краски. И мужчина не смел больше выйти на люди. А женщина, довольная, от радости «щипала себя»: как, мол, сработал мой план, как зацепил за живое мой бурав, как ужалило моё шило! Начало, мол, положено. Если кто-то на улице спрашивал, Туаса, как, мол, муж,– она быстро, тут же выдумывала какую-нибудь невероятную историю: «Вон чешет ухом свой тапок»; «Левым глазом подмигивает правому и ржёт, как мерин, во весь голос»; «Я и сама стала его побаиваться»; «Всё бубнит: мне нужна работа, мне нужна работа»; «Как будто получше стал в последнее время»...

Сидел наш, угнетенный женой, бедолага в доме, сколько мог высидеть. И вот, в один прекрасный день, по приказу жены всё же пошёл на свадьбу в нижний квартал села, к Гордецовым[10]. Как только люди увидели его, вошедшего во двор, все резко замолчали. Нужно было выходить из ситуации. И те, кто был поумнее да похитрее, поклонились в приветствии гостю. А те, кто был более слаб и труслив (вдруг, мол, нож у Минкина в кармане), пробираясь вдоль стены, поспешили по-тихому исчезнуть с безмолвствующего двора свадебного торжества. Упаси Господь в этот момент встретиться с Минкином взглядом, плохо бы тому пришлось. Но на самом-то деле Минкин сам

[10] В оригинале фамилия звучит «Уалбеконта»; значение слова – горделивые, заносчивые, высокомерные.

больше боялся людей. Впрочем, не столько боялся, сколько стыдился своих дурацких поступков. И все же, соблюдая обычаи, Минкин попросил позвать хозяина дома.

Гордецову ничего не оставалось, как выйти к незваному и нежданному гостю. Минкин протянул ему руку, чтобы поздравить. Но хозяин свадьбы подпрыгнул на месте, испугавшись, что Минкин ударит его. Гордец ещё не коснулся земли, как из бледных уст его пулеметной очередью вылетели слова извинения:

– Прости, Минкин, больше не буду, никогда больше!..

– Да, хорошо, прощаю... И поздравляю, – снисходительно произнес Минкин.

Они пожали друг другу руки. Ладонь Гордецова покрылась волдырями, будто он коснулся горящей головешки, но хорошо, что этим обошлось. Минкин исполнил свой долг, однако за стол садиться не стал – не впрок, мол, мне пить араку. И ушёл со свадьбы. На улице ему неожиданно встретился ещё один недруг – они столкнулись лицом к лицу. Тому не удалось спрятаться от Минкина. Наш «сумасшедший» и ему пригрозил: «Погоди, вот выпью один стакан, посмотришь, что с тобой будет! Если без закуски – берегись!»

– Минкин, поверь, больше никогда не буду шутить, – невольно опустился на колени мужчина, и глаза его налились слезами.

– Поднимись, собака! – прикрикнул Минкин на недруга, и тот вскочил, словно испуганная косуля. Минкин хотел оставить его в состоянии тревоги, но пожалел и протянул руку:

– Хорошо. Помирились. Прощаю в последний раз.

Как только наш «сумасшедший» добрался до дома,ТуасаБураон прижала его к стене:

– Расскажи-ка, любезный мой муженёк, как сложился твой поход на свадьбу?..

– Чтоб тебе провалиться! В кои-то веки гордецы села Фаранк оценили меня как настоящего мужчину. Даже удалось кое-кому ещё при жизни отомстить. Но всё же на душе у меня муторно, такие дела не по мне.

– Ни о чём не волнуйся, мой маленький великан. Бог нам в помощь, и теперь, благодаря Ему, что-нибудь придумаем. Будешь меня слушаться, будешь сыт по горло неприятностями, однако иногда и приятные моменты будут. Женщины – чертовки, особенно такие, как я. Мне до сего времени было стыдно из-за чистоты твоей души. Иначе бы мы не жили в такой бедности. А теперь слушай меня дальше!

– Что за вероломный план опять созрел у тебя в голове?

– Я не только головой понимаю, но и телом ощущаю. Я женщина! А у неё более совершенная, более тонкая природа. Послезавтра – Новогодняя ночь. Пойди и зарежь нашу единственную кормилицу-курицу, чтоб она нам сослужила последнюю службу!

Минкин остолбенел, словно Туаса проткнула его шилом, тело пронзил озноб, он побледнел, как полотно, и заорал:

– Никогда, злосчастная женщина! Этого не будет никогда! Исчезни отсюда!

Жена посмотрела на него и надолго приумолкла. Она постелила мужу отдельно, а себе кинула у двери старую шубу, легла на неё. На лице Туасы

попеременно выражались то обида, то гнев, то обида, то гнев.

– Собака должна спать на подстилке для собаки! – бурчал злой мужчина, и, в конце концов, уставший от гнева, уснул.

Туаса до полуночи не сомкнула глаз. Стонала, охала, ой, мол, сердце у меня болит. Муж несколько раз просыпался и прикрикивал на мнимую страдалицу:

– Не верю тебе, у тебя нет сердца! А если есть, то это камень!

И тогда в каменном сердце женщины (или в ее изощренном уме) вызрело новое разящее средство. Она запустила к мягкому сердцу мужчины гибкое змеиное жало своего языка:

– Да, меня пусть хоть собаки съедят – умирать, так умирать! Но я о тебе и твоих детях забочусь. Как вы будете жить без меня? Как ты будешь смотреть в глаза этим беззащитным ласточкиным птенчикам, когда они будут голодны?

Не выдержал Минкин этих тягостных разговоров. Но, не показывая, насколько ему больно, сказал жене:

– И все же ты снова меня обманываешь. Иди сюда, ложись в свою постель, а то застудишь почки. Никогда больше не меняй своё ложе...

Туаса, ахая-охая, улеглась у ног Минкина, свернулась там, подобно детенышу оленя, похожая, однако, на змею. Одному Богу ведомо, о чем они говорили всё оставшееся до рассвета время. Короли тоже выносят свои самые важные решения ночью на двухместной кровати с выточенными из слоновой кости ножками.

***

...Вот и Новогодняя ночь наступила. Минкин, словно хитрый лис, крался к курятнику, к дорогой его сердцу курице Райсе. В тот момент он казался себе предателем. Лицо от стыда пылало, словно было залито кровью.

– Хорошо, что курица не видит в темноте, – успокаивал себя Минкин.

Он уже не понимал, перед кем ему больше стыдно – перед собой или перед курицей. Минкин подкрадывается к живой душе, которая спасает его детей от голодной смерти. Курица для него сейчас не птица, не живность. Райса – человек, настоящий человек, даже более совершенное творение, чем человек.

Остановиться бы Минкину, задуматься – что он творит?! Но мужчина идёт своим путём, ноги сами его несут, голова стала безвольно повиноваться ногам. Когда Минкин ясно понял, что этого не избежать, он скрепя сердце взял себя в руки. Мужчина схватил сидевшую на насесте, ничего не подозревающую курицу и, обращаясь от страха сам к себе, громко крикнул:

– Курица есть курица, это живность. А обычай есть обычай, это святое! Да и что ты вообще паникуешь, что ты за мужчина?!

Курица Райса, будто в бреду, что-то прокудахтала, но Минкин был к этому заранее готов.

Нагнувшись, чтобы не зацепить головой дверной косяк курятника, он вынес курицу во двор. А там случилось... великое чудо. Домашняя птица встрепенулась в руках мужчины, пришла в себя и говорит Минкину человеческим голосом:

– Что случилось, что ты хочешь со мной сде-

лать?

Минкин затрясся от страха, но в ушах звучали упреки Туасы: «Ты – не мужчина, ты – никто!». Собрав волю в кулак, он взял себя в руки. Сначала даже подумал, что это была речь не курицы, а его собственная. Но голос был сиплый, явно куриный. И Минкин крикнул: «Ну и шут с ним! Ну и пусть – мне всё равно!». Он твердо встал на ноги, почуял прочную земную опору. Его тело, как бы напитываясь из земли, наливалось от ступней до темени уверенностью и мужеством. Мысли Минкина стали ясными, как чистое новогоднее небо. И курица, когда, очевидно, поняла это, тихо ему сказала:

– Ты так ничего и не хочешь мне сказать...

– Почему не скажу! Скажу! Сегодня утром ты последний раз обласкала моих детей. Твое время закончилось. Наступил Новый год, и я тебя зарежу.

– Оставь меня в покое!.. Что с вами будет без меня?

– Оставлять тебя больше нельзя! – твердо сказал Минкин, связал курице ноги крепкой конопляной паклей, затем аккуратно уложил её на землю. Подошвой правого сапога прижал связанные лапки. Левой рукой собрал крылья и придавил их другим сапогом к мёрзлой земле. А шею курицы направил в сторону восхода, как и положено по обряду жертвоприношения.

Туаса быстро принесла огромный кухонный нож. Передала его мужу, словно боевую саблю. Тут попавшая под тяжелые «лапы» Минкина бедная курица опять говорит сиплым голосом своему губителю:

– Ты же мухи никогда не обидел, разве сможешь зарезать курицу?

– Это было до сих пор. Теперь будет по-другому! – стальным голосом, исполненный гордости, сказал Минкин, а его сердце от жалости было готово разорваться в груди.

Туаса, решив, что её, испугавшийся крови супруг сам с собой разговаривает, конечно, речь курицы не слышала. Она слышала только то, что говорил муж, и подбадривала его:

– Вот это мужчина! В кои-то веки…

– Убирайся отсюда, не мешай мне! – прикрикнул Минкин. Женщина бросилась в дом, шлепая калошами и что-то бормоча. Даже испугалась его… первый раз в жизни.

Тот, который намеревался зарезать курицу, возвёл глаза к небу, закрутив концы замерзших усов, провёл по ним руками. Развернул кверху ладони и взмолился:

– О, Всевышний, помоги и прости!

А курица ему в последний раз молвила человеческим голосом:

– Я тоже молящаяся Богу душа. Ты никогда не обращал внимание, как я пью воду?

Вот тебе ещё чудо! Воистину сказано: «Если не умираешь от удара, тогда тебе – укол клинком в сердце». На этом безвольный, обессиленный мужчина с шумом рухнул навзничь.

Была студёная зимняя ночь. Мороз сковал землю. Небо стало ясным, звезды мерцали, как бы подмигивая луне. Неистовый ветер со свистом дул во все щели села Фаранк и пронизывал его насквозь. Бедный Минкин без движения лежал на мёрзлой земле. Курица с перевязанными лапами,

кудахча, подобралась к мужчине и осторожно поклевывала его щёку своим острым клювом. Голову его прикрывала крылом, чтоб не замерз. Затем стала громко кудахтать, с шумом билась об землю, стараясь привлечь внимание жены Минкина. Страшно сказать, но если бы ещё небольшая задержка, Минкин околел бы и больше не очнулся. Но как только Туаса услышала душераздирающее кудахтанье курицы, она выскочила во двор. Быстро схватила мужа, приволокла его в тёплую комнату. А там давай бить по щекам, обливать его водой, и, в конце концов, полумертвец ожил.

Туаса говорит ему с насмешкой:

– Скажи, ради Бога, кто из вас кого резал, ты – курицу или она – тебя?

– Хватит! – поднял руку Минкин. На этом закончили.

Туаса уложила мужа в постель, а сама выскочила за дверь, чтобы разрешить ситуацию, которая её больше всего заботила:

– Негодная птица, чтоб ястребы тебя склевали! – Она накинулась на наседку, словно голодная волчица. – Я бы сама тебе шею скрутила, да не могу, не подобает женщине птицу резать.

Курица повернула в её сторону свой клюв, встряхнула своим красным гребешком:

– А теперь делай со мной, что хочешь, воля – твоя!

Туаса в порыве гнева не разобрала ничего, даже не услышала. Хотя, может быть, хохлатка и не сказала ничего, но в это трудно поверить.

Храбрая женщина каким-то лоскутком привязала её ноги к столбу, служащему для привязи ослов. Сама же направилась к соседу Дзотдалу – за

которым в селе закрепилась обязанность быть на побегушках у всех и всегда. Ворвалась Туаса к ним стремительно, словно зимний ветер, без стука, и, вместо «здравствуйте», сердито сказала гревшейся беззаботно у огня семье:

– Срочно, Дзотдал! Нужно зарезать курицу! Муж приболел в эту стужу, и к кому мне обратиться, если не к тебе!

– Сейчас, сейчас, – расплылся в улыбке Дзотдал, поднявшись с места, а затем, о чем-то задумавшись, сказал:

– Подожди-ка! Бога ради, присядь на минутку, – подвинул ей деревянный стул со спинкой.

Туаса присела, а Дзотдал дальше стал развивать свою мысль:

– Ты про курицу – кормилицу вашей семьи?

– Да! Другого выхода нет! Это решено, обсуждать не будем!

– Жаль несушку резать, солнце мое. Я предлагаю тебе лучшее решение. Меняю её на ишака с арбой, всё равно мне от них никакой пользы нет, и нашу курицу, всё равно она яйца не несет. Какая тебе разница, используй эту для ритуального застолья.

– Хорошее предложение. Согласна, – не раздумывая, сказала Туаса и поспешила принести свою несушку к соседям, закинула в их курятник, в сладкие – для курицы – объятия темени и тепла. Курица, конечно, раскудахталась, хлопая полурасправленными крыльями, но всё же попасть в чужой курятник было лучше, чем оказаться у себя зарезанной. Поэтому она, бедняга, через некоторое время успокоилась.

Дзотдал резво запряг ишака в повозку, посадил

в неё Туасу. Почему, мол, такая красивая женщина должна идти пешком?! Водрузил ей на руки старую курицу. На протяжении короткого пути, на ухабах, мужчина несколько раз склонял голову на плечо соседки. Она игриво, не без удовольствия повизгивала – отстань, мол, бабник! А курица, между тем, кудахтала, озабоченная происходящим. Видимо, она была сильно привязана к своей бывшей хозяйке – жене Дзотдала.

– Сейчас я зарежу её, и кто нам тогда ещё помешает? – подбадривал себя мужчина, рисуя соблазнительную картину.

Да и Туасе все происходящее, судя по всему, не было неприятным. Хотя в темноте по её лицу невозможно было понять, как она относится к его поползновениям. Всё же лицо Туасы пару раз озарялось улыбкой в темноте, –как казалось Дзотдалу. А её прерывистое дыхание самого мужчину будоражило еще сильнее. Они заехали во двор к Минкину, распрягли арбу.

Таким вот образом, в одну ночь семья Минкина стала зажиточной, завладев ишаком и арбой.

Дзотдал поспрашивал больного хозяина о его здоровье, затем зарезал курицу и ушёл пока к себе.

Туаса ощипала курицу, быстро сварила её, испекла пироги из сыра, который попросила у соседей, раздобыла картошки. Арака у них была своя. В мгновение ока она накрыла стол. Дзотдалу поручила позвать к столу самых уважаемых мужчин села. Сам, мол, будешь у них виночерпием. Как и положено по обычаям, вознесёте молитву Богу.

На славу посидели в новогоднюю ночь некоторые из знатных мужчин села Фаранк в доме Мин-

кина. Когда выпили по три, они позвали Туасу, займи, мол, за столом место своего мужа[11].

Не ведомо, о чем они говорили, какие только разговоры не затевают люди, когда навеселе. Но, предполагаю, что в итоге перешли на разговоры о политике. Если ты, читатель, меня спросишь, откуда, мол, тебе знать об этом, если тебя там не было, готов ответить: «Для наших людей политика – самое важное дело, она есть в нашей жизни, внутри наших душ, укоренилась в наших семьях и за нашими столами… А зачем она нам так понадобилась, этого я не понимаю».

Ладно, пусть будет так. За столом у Туасы почётные люди села Фаранк от разговоров о политике перешли к теме любви. Как мне потом рассказывал Дзотдал, Туаса, мол, буквально дырявила своим взглядом то одного гостя, то другого, вперившись поочередно им в глаза. В кого она уставится, у того, словно у ангела, вырастали крылья. Самые трезвые совершенно пьянели, пьяные – абсолютно трезвели. И кто-то из мужчин летал, кто-то – падал да вставал. Что она с ними сотворяла, никто не понимал, кроме Бога и самой Туасы. Женщина пленила их своим сиянием, опутала паутиной, затем «пила их кровь» у каждого по очереди. В конце концов, они все оказались в трансе. Новый год застал их в самом бедном доме села. Но в этом убогом жилище было невиданное, чудесное сокровище – Туаса, самая красивая женщина во всем селе Фаранк, с которой до сих пор не то, что говорить, но даже бросить на неё беглый взгляд никто не смел. А сегодня упал с неба

[11] Автор использует фразеологизм вместо слова «муж» - «хозяин твоей головы».

каменный заслон, и полностью разверзлись заоблачные врата.

Для самых видных мужчин села в эту январскую ночь засияли одновременно солнца и луны. Аромат счастья, о котором они даже мечтать не смели, на которое у них не было права, витал пред ними непозволительно близко, кружа им головы.

У Дзотдала не было никаких прав, кроме как наполнять бокалы и поддерживать тосты – говорить «аммена». Это его и спасло, потому как его тайные помыслы были столь же легкомысленны, как и у других. Мужчина есть мужчина, тело его и воля крепки, но своим чувствам и желаниям он не хозяин. Спросишь, почему? Сердце и душа мужчины очень уязвимы. Пусть никто не бьёт себя в грудь: я, мол, такой-то, я, мол, так и так сделаю! Ничего у тебя не получится, успокоишься, смиришься. Всего лишь и нужна сила, равная той, которая сможет присвоить твою мощь и направить её против тебя.

После полуночи Дзотдал ушёл домой в страданиях. Он не особо был пьян, однако ноги не несли его из дома Минкина. Точнее, не Минкина, а Туасы. Муж её там никто – кочерыжка от капусты. Стонал в своей постели, подавая голос за закрытой дверью. Детей тоже мать рано уложила спать в комнате отца, чтобы он присматривал за ними и не мешал участникам вечеринки. А в это время дом его превращали в посмешище.

Гости до самого утра оставались в доме Туасы. Кто – за столом, кто сполз вниз, кто растянулся в кухне на лавке. Они храпели в голос, улыбаясь во сне, что-то несвязно бормотали в алкогольном угаре.

Глава села Толстяк в состязании по выпивке и тайной страсти оказался крепче других, и они с Туасой заигрывали друг с другом, обмениваясь недвусмысленными взглядами и вели медоточивые речи. Когда Толстяк медленно приближался к женщине, дерзкая Туаса ослепляла его огненно-острым взором, и этот гордец так и довольствовался одними обещаниями.

Настало утро. Бледное солнце с трудом просачивалось своими робкими лучами сквозь окутавшие его облака. К дому Туасы набежали жены её гостей в боевой готовности. Им не понадобилось вторгаться в жилище чертовки. Хозяйка сама с большой радостью провела их к спящим вповалку мужьям. Женщины – молодые, средних лет, пожилые – устроили многоголосый шум и ор: поднимайтесь, мол, позорники, гуляки, шаромыги. Когда мужчины проснулись, поняли, где они, в этот момент их злословные жены набросились на Туасу с обвинениями. «Как бы не так», – думала она про себя и кидала выразительный взгляд на мужа той, которая на неё нападала. В итоге все мужчины стали на сторону Туасы против своих жён и так, ругаясь, бормоча, парами разбредались по домам. Туаса стояла на пороге с кувшином араки и всем мужчинам подносила дополнительную чарку на дорогу – тост за Уасгерги[12].

...Время шло своим чередом. Минкин окреп. Начал возить на осле сено, дрова, колья и продавал их жителям села Фаранк: сначала дешево, чтобы привлечь клиентов, затем понемногу

[12] Святой, покровитель мужчин, путников, воинов, охотников. Когда гости уходят после застолья, поднимают тост и пьют за него.

прибавлял в цене, согласно законам рынка и указаниям Туасы. В течение двух лет семья стала на ноги. Те мужчины, которых женщина пригласила тогда на новогодний праздник, тоже стали помогать им, кто чем мог. Дети были сыты, их мать, словно заряженная неиссякаемой энергией, крутилась, как юла. Лицо её сделалось гладким, словно яйцо их бывшей курицы Райсы, и лучезарно сияло. Многие с тайными желаниями приходили полюбоваться на её гибкий стан. Проходя по улице, никто не смел ей лишнего слова сказать. И Минкин стал почитаемым, попал в число первых лиц села Фаранк.

К тому времени подошёл срок окончания работы Толстяка на должности главы села, и он позвал для совета Туасу. Они недолго пошептались и разошлись. А в день выбора нового главы большинство жителей Фаранка оказалось на стороне мужа Туасы. Минкин стал главой села. А Туаса всегда держала слово и пошла отблагодарить их покровителя. Конечно, Минкин понял, в чём дело, но сделал вид, что ни о чём не догадывается, думая, наверное: «Держи язык за зубами и будешь есть мясо». Таким образом, у семьи началась новая, свободная, демократичная жизнь: и мужу, и жене не стало дела друг до друга – кто, где и с кем, кто что делает, чем занимается. Всё это отныне их личные дела.

«Хватит! Пожили дикарями, и довольно!» –такой взгляд на вещи устраивал обоих, потому как возможностей у них появилось много. Не нравилось только мужьям и жёнам тех, кого эти двое силой и положением заставляли себя любить, и кого невольно втягивали в свои дела.

Туаса сделала из Минкина настоящего демона, затем он даже переплюнул её. Усмиряющий панцирь его совести был словно неудобный скафандр. Он избавился от этого бремени и, вдохнув полной грудью, обнаружил свое истинное лицо. Новый глава села показал, какой на самом деле есть – без показухи, мнимых условностей, пренебрегающий границами морали. Минкин всегда ничего особенного из себя не представлял, но всё же умел скрывать недостатки. А теперь он взялся за дело.

Впрягался, подобно отважному буйволу, во все дела и по всем направлениям: «Жить – так жить, умирать – так умирать!» Он уже не мог насытиться ничем, жадность засасывала и поглощала его, словно болото. Себе платил десять рублей, работникам – по десять копеек. Да ещё и попрекал людей этим, тыкал в глаза, чтоб селяне не видели его ворованные десять рублей, чтоб они были слепы. Отвлекающий маневр! И Минкин направлял работяг, словно скотину, туда, куда хотел.

Следы вора и разбойника часто покрывает снег. И негодяй своими грязными лапами накидывал ярмо на бедных людей. Словно змей, поедал их чистые простые души, обнюхивал их, словно шакал, выискивая у них недостатки, попрекал ими. А самое удивительное, во всем селе Фаранк не было никого с более запачканными штанинами, чем сам Минкин. Он был настолько переполнен всякими сомнительными достоинствами, что в короткий срок оказался в противостоянии всему селу: Минкин – на одной стороне, его односельчане – на другой. Но одни не смели сельскому голове и слова сказать, другие задыхались от зловонья,

исходящего от него, как от навозной кучи – устранялись от него. Они считали эту работу – раскапывать дерьмо – ниже своего достоинства. Вот Минкин и действовал, считая людей дураками. Даже ставил, бывало, себя вровень с Богом, когда в очередной раз обижал безвинную душу. Любовался собою: «Я – вершитель судеб. Судьбы многих от меня зависят!»

Мнил себя на месте луны в небе и начал оттуда на людей взирать. Народу это тоже стало понятно, и о Минкине начали говорить, что он заболел «лунной болезнью», стал, мол, бледно-небесного цвета. А «лунная болезнь», как вы правильно поняли, это «лунатизм».

«Лунатик» начал, словно паук, ползать по стенам, а болезнь его заключалась именно в этом. По ночам, бывало, поднимался с постели, и во сне бродил по чердакам и крышам, словно наяву. Таким вот образом, постепенно, его мысли начали плавать по ночному небу, словно луна.

Но и этого ему стало мало, и он оттуда кричал:

– Я – не луна, а звезда! Эй, вы, людишки, вы лишь муравьи да букашки! Минкин ни во что не ставил людей, и они его – тоже ни во что. И первая из них была его Туаса, хотя она и оказалась единственной, кто пользовался его наживой. Ей не нравилось, что он посмел переплюнуть даже ее саму:

– Откуда ты опять это стащил, волчара ненасытный?! Откуда приволок? Я тебе покажу где раки зимуют! – негодовала Туаса. – Пожалуюсь на тебя тем, кто ещё больший шкуродёр, чем ты, чтоб тебе боком вышло твоё крохоборство! Тьфу, скупердяй... Пропащий! Это уже даже не звездная

болезнь, а извращение какое-то.

Минкин воспарил мыслями в небо, воссияв, словно звезда, и угас, оставляя за собой дымный след. Может быть, кто-то из ему подобных чертей в этот момент загадает желание, и оно исполнится. И тогда есть опасность, что наступит конец света и свершится Страшный суд. Но, наверное, к счастью, ничей глаз из ему подобных падение ложной звезды сельского головы не засёк. А из стелящегося за ним черного шлейфа невероятных образов читалось имя «Минкин».

– Единственный друг у меня остался ещё на небе – Всевышний, – сокрушался Минкин. – Есть там ещё луна, звезды, но они тускнеют на моем фоне. Мы тут с Богом один на один восседаем и неторопливо ведём беседу.

...А недавно Минкина, говорят, видели возле курятника.

Вам это покажется смешным, но я сам поверил в то, что Минкин вёл беседу с Богом. Во время одной такой дружеской встречи они просидели с утра до вечера в хоромах, которые Минкин возвёл для себя на небесах. На длинной скамейке поставили между собой доску для нардов. Рядом, на перевернутом ящике – дубовую посудину, полную выдержанной араки, хлеб, соль, соленые огурцы, лук и прочую снедь. После очередной партии выпивали по одной чарке. Да и молились здесь же друг на друга – по договоренности: Минкин – на Бога, а Бог – на Минкина.

Арака не прощает слабости даже Создателю своему. И, когда они изрядно повеселели к вечеру, между ними случился спор. Минкин, как хозяин

дома, сказал недовольно: ты, мол, гость, и умей себя вести подобающе.

Творцу Вселенной стало, конечно, неприятно. И Создатель упрекнул Минкина, как мне кажется, то ли по поводу жены, то ли по поводу его работы. Слышать слово Божье своими ушами дано, очевидно, только Минкину. Ко всем остальным оно само проникает в сознание. Нужно его – самого Минкина! – спросить, на что Бог обиделся?! Но когда Минкин снова очутился в селении Фаранк, оставив свой золотой дворец между солнцем и созвездием Большой Медведицы, он, говоря о Всевышнем, повторял несколько дней:

– Он же шуток не понимает…

После этого Минкин стал совсем странным и покинул свою работу.

А в последнее время заползает в курятник и сидит там на насесте до утра в кромешной темноте. Из старых построек он оставил только эту, и она на роскошном фоне его больших замков смотрится, как язва.

Туаса давно просила разобрать курятник, но Минкин не позволял. Это, мол, живой памятник нашей благодетельнице Райсе. Каждый вечер курица тайно кралась от соседа Дзотдала, нового своего хозяина, и они вдвоем с Минкиным о чём-то кудахтали в своем старом курятнике до рассвета.

Поначалу мужчина забирался на верхний насест, а Райсе позволял сидеть только на самой нижней жердочке. Позже он, наверное, понял, что гордыня – грех, осознал все свои ошибки, раскаялся и спустился вниз, к несушке Райсе. В обед она сносила ему яйцо. Чудаковатый Минкин съедал только его, ни к какой другой пище не прикасался.

Странно, но такая еда пошла ему на пользу – человек понемногу пришёл в себя и ум возвратился к нему. На вопрос «кто ты?» твердо отвечал – Минкин. После чудесного исцеления он взял под мышку курицу Райсу и в старой одежде отправился в неопределенном направлении.

Куда ушёл Минкин, что с ним стало, об этом никому ничего не известно. Кто знает, может, его уже нет в живых? Или, может быть, в другой стороне обрёл душевное успокоение вместе со своей курицей? Я не обнаружил следов обоих и сознание моё изнывает от любопытства. С тех пор, как ушёл Минкин, в их доме сменилось много хозяев. Только хозяйка Туаса никогда ещё не отлучалась. Да и глаза не проглядела она в ожидании возвращения Минкина...

Перевод с осетинского Олега Воропаева и Сергея Телевного.

Перстень Ермолова

НИКОЛАЙ БЛОХИН

Краеведение

Припоминаю, что «всего Пушкина» планировали издать к 100-летию его гибели, то есть к 1937 году. Однако последний 17-й том вышел из печати в 1959 году.

Затем на его основе несколько раз издавали Собрание сочинений А.С. Пушкина в 10-ти томах.

В 1996 году Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук по заказу государственного газетно-журнального объединения «Воскресенье» выпустил Полное собрание сочинений А.С. Пушкина в 17 томах (в 24 книгах). Издание было приурочено к 200-летию со дня рождения поэта. Пополненное новыми материалами, оно значительно отличалось от академического издания 1937–1959 годов. Тогда же был выпущен дополнительный 18-й том с рисунками поэта. А в 1997 году был издан 19-й том, информационно-справочный. Он содержал указатели, каталог рисунков, путеводитель по Пушкину.- Именно это издание сочинений А.С. Пушкина помогло мне

ответить на одну из литературоведческих загадок. Приведённые ниже строки из «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года» на исследователей, живущих на Северном Кавказе, действуют завораживающе.«В Ставрополе, – пишет Пушкин, – увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи. Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашёл я большую перемену. В моё время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своём виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведён по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зелёные лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость... Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звёзд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окружённый горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...»

Откроем 8-й том Полного собрания сочинений А. С. Пушкина. В первой книге этого тома опубликован известный исследователям окончательный пушкинский вариант «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года», а во второй – ранние редакции того же произведения, по которым исследователи могут проследить, как Пушкин работал над текстом, увидеть его исправления, зачёркивания, вставки, сноски, пометки на полях, как менялось название…

Нас же интересует та часть текста, которая не вошла в окончательный вариант «Путешествия в Арзрум…» В Георгиевске 15 (27) мая Александр Сергеевич записал в тетради: «Путевые заметки 1829 г.» Это первая запись в дневнике и первое название «Путешествия в Арзрум…» С этих слов начинаются путевые записки Пушкина о его поездке на Кавказ и в Закавказье.

В первом варианте заметок находим: «С неизъяснимой грустью пробыл я часа три на водах; [с полнотою чувства разговаривал с любезными Же… и Жи… и старался изъяснить им мои печальные впечатления. Они меня поняли и дружески со мною распростились.] Я поехал обратно в Георгиевск – берегом быстрой Подкумки».Вначале Пушкин пишет: «искренно старался передать им мои сердечные впечатления», потом вычеркивает слово «искренно», «передать» меняет на «изъяснить», а вместо «сердечные» ставит «печальные».

Кто такие «Же…» и «Жи…», и почему они с трудом, но всё же «поняли» Пушкина? На каком языке разговаривал с ними поэт – на французском или на итальянском? В одной из редакций Пушкин записал: «Они меня поняли, по-дружески проводили до тележки и я поехал обратно в Георгиевск…»

Критик О.И. Сенковский, профессор факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, писал об изучении Пушкиным языков: «Из языков он тогда в Лицее знал один только французский и весьма слабо латинский. После, уже в зрелом возрасте, выучился по-итальянски, по-немецки, по-английски и по-польски, и то в той степени только, в какой это знание было необходимо для чтения великих образцов поэзии и литературы...» Далее Сенковский отмечает, что Пушкин «к 1835 году свободно читал по-итальянски».

Отец поэта Сергей Львович Пушкин, по словам первого биографа Пушкина П.В. Анненкова, «владея в совершенстве французским языком, он писал на нём стихи так же легко, как француз, и дорожил этой способностью». По слухам он написал целую книгу стихами и прозой, рассуждал в ней о современной русской литературе. В семье поэта все изъяснялись по-французски. Маленький Пушкин и его сестра Ольга воспитывались вместе, говорили, писали и твердили уроки из всех предметов по-французски. П.В. Анненков отмечал, что библиотека отца поэта была наполнена французскими классиками XVII века и произведениями философов последующего столетия. К одиннадцати годам будущий поэт знал наизусть всю французскую литературу. Впоследствии для него было нормой писать письма по-французски жене Наталье Николаевне, генералу А.Х. Бенкендорфу, дочери М.И. Кутузова княгине Е.М. Хитрово, помещице из села Тригорского, соседке по Михайловскому, П.А. Осиповой...

Возвратившись с Кавказа в Петербург, Пушкин опубликовал в «Литературной газете» (1830, № 6) небольшой очерк «Военная Грузинская дорога» с

подзаголовком «Извлечение из путевых записок А. Пушкина». Полностью текст появился в журнале «Современник» (1830, № 1), правда, под названием «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года». И более при жизни Пушкина «Путешествие...» не печаталось. Позднее издатели не раз обращались к этому произведению. После гибели поэта оно выходило на протяжении XIX века во всех наиболее авторитетных изданиях его сочинений под редакцией Анненкова, Смирдина, Павленкова, Ефремова, Морозова, Венгерова, Суворина и других. Несмотря на то что отрывок «Военная Грузинская дорога», как и всё «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» при жизни Пушкина был напечатан с крупными цензурными изъятиями и ошибками, издатели не утруждали себя, продолжая печать текст «Путешествия...» с искажениями. Притом, что рукописные материалы, относящиеся к «Путешествию в Арзрум», в разные годы публиковались и на рубеже XIX и XX веков были известны издателям. Среди них беловой автограф «Путешествия в Арзрум», подготовленный Пушкиным для издания отдельной книгой; автограф отрывка «Военная Грузинская дорога», напечатанного в «Литературной газете»; автограф «Путевых записок» 1829 года; автограф отрывка из «Путевых записок», датированного «Арзрум, 12 июля 1829 года»; автограф первоначальной редакции «Предисловия»; цензурный экземпляр автографа «Предисловия»; первоначальная рукопись «Маршрута от Тифлиса до Арзрума»; писарская копия «Приложений» и «Маршрут от Тифлиса до Арзрума».

Обращает внимание на себя одна особенность пушкинского текста. Как в первых изданиях «Путе-

шествия...», так и в изданиях, выходивших в конце XIX века, многие персонажи из «Путевых записок...» Пушкина всё ещё оставались анонимными. Читатели, открывавшие, например, томик сочинений, изданных А.С. Сувориным в 1887 году, встречали такие фразы: «На всякий случай я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к Ч***, начальствующему в здешней стороне...». Или: «18 пар тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили лёгкую венскую коляску приятеля моего О***»; «В Гергерах встретил я Б., который, как и я, ехал в армию...». В тексте «Путешествия...», предназначенном для печати, упоминается «г-н А», то есть Александр Раевский.

В издании «Путешествия...» за 1986 год напечатано: «Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, молча прислушиваясь к мелодии волн...» В путевом дневнике Пушкин пишет иначе: «Здесь, бывало, сиживал со мною Н. Николай (Р)аевский), молча прислушиваясь к мелодии волн...» Справедливости ради следует отметить, что на Кавминводах Пушкину был ближе Николай Николаевич Раевский, 1804 года рождения. Со старшим из братьев Александром Николаевичем Раевским, 1795 года рождения, поэт сблизился позднее, в Одессе.

По дороге в Арзрум Пушкину встречались люди, которых он представлял читателям по титулам, именам, фамилиям. Он писал и о совершенно случайных попутчиках, называя их также по именам, таких, как, например, князь Казбек из одноимённой деревни, тифлисский банщик Гассан, молодой армянин Артемий, приглашённый поэтом в армию. А имена своих приятелей и знакомых Пушкин обозначал заглавной буквой фамилии,

ставил многоточия, звёздочки. Скрывал, не хотел афишировать свои встречи с сосланными на Кавказ декабристами? Но ведь «Г.С.» – генерал Стрекалов Степан Степанович, тифлисский военный губернатор. А встреченный Пушкиным в Гергерах «Б» – адъютант военного министра Бутурлина. Но они не имели отношения к декабристам.Исследователь В.С. Шадури в книге «Пушкин и грузинская общественность» (1966) предположил, что Пушкин воспользовался сложным приёмом зашифровки имён декабристов, и лиц благонадёжных, для того, чтобы «спутать карты» своим врагам. Возможно.

Со дня первого издания «Путешествия...» прошло 190 лет. И за это время литературоведами проделана большая работа по расшифровке пушкинского текста. Но и в наше время, в начале XXI века, в тексте «Путешествия в Арзрум...» ещё встречаются многоточия и звёздочки. Например, до сих неизвестно, кого зашифровал Пушкин под именем «О***», которого назвал «моим приятелем». Из Ставрополя Пушкин отправился в Георгиевск, а далее заехал на Горячие воды. В рассказе он употребляет местоимение «я»: «увидел я», «я заехал», «я карабкался», «я ехал берегом Подкумка». Но после отъезда из Георгиевска пишет: «мы отправились», «мы тронулись», «мы услышали глухой шум», «мы поехали»... Выясняется, что в оказии, следовавшей до Тифлиса, Пушкин упоминает графа Мусина-Пушкина и его родственника Шернваля, но встретил он его раньше: «В Новочеркасске нашёл я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе». Граф В.А. Мусин-Пушкин – капитан, декабрист. Образование получил домашнее, в иезуитском пансионе, в пажеском корпусе. В 1816 году назначен в Бородин-

ский пехотный полк. В 1817 году переведён прапорщиком в лейб-гвардейский Измайловский полк и назначен адъютантом к главнокомандующему I-й армии графу Ф.В. Остен-Сакену в Могилёв. За короткий срок сделал успешную военную карьеру: в 1819 году он – подпоручик, в 1820 – поручик, в 1822 – штабс-капитан, в 1824 – капитан. Член Северного общества с августа 1825 года. После подавления восстания декабристов на Сенатской площади арестован в Могилёве 2 января 1826 и 6 января на полгода заключён в Петропавловскую крепость. По велению Николая I после шестимесячного заключения молодой граф был переведён из гвардии в один из обычных полков 25-й пехотной дивизии в Финляндии – в Петровский пехотный полк. В феврале 1829 года переведён на Кавказ в Тифлисский пехотный полк в том же звании. По дороге к новому месту службы и произошла его встреча с Пушкиным. Владимир Алексеевич был старше Александра Сергеевича всего на один год. Граф Мусин-Пушкин рождён в 1798 году, поэт Пушкин – в 1799-м.Владимир Алексеевич родился в семье графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, открывшего российскому читателю «Слово о полку Игореве». К тому времени его уже не было в живых, он умер в 1817 году. Вторым лицом, обозначенным в первом издании буквой «Ш», был Эмилий Карлович Шернваль, финляндец, зять упомянутого выше графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина, брат известной красавицы Авроры Карловны Карамзиной. Третьим человеком, следовавшим вместе с Пушкиным в Тифлис, был тот самый приятель под именем «О***», лёгкую венскую коляску которого еле тащили «18 пар тощих, малорослых волов». Описывая своё пребывание в Тиф-

лисе, Пушкин упоминает П.С. Санковского, издателя газеты «Тифлисские ведомости», первый номер которой появился 4 июня 1828 года. Газета выходила один раз в неделю и предполагала, как писал Главноуправляющий Грузией барон Г.В. Розен, «...сообщать России сведения о столь мало ещё известном Закавказском крае и обратно знакомить туземцев с Россией и европейской образованностью». Санковский, писал Пушкин, «рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А.П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для неё блестящую будущность».

Именно с благословения Санковского в «Тифлисских ведомостях», в номере от 28 июня 1829 года, была помещена заметка следующего содержания: «Надежды наши исполнились: Пушкин посетил Грузию. Он недолго был в Тифлисе; желая видеть войну, он испросил дозволения находиться в походе при действующих войсках и 16 июня прибыл в лагерь при Искан-Су. Первоклассный поэт наш пребывание своё в разных краях России означил произведениями славного его пера: с Кавказа дал он нам «Кавказского пленника», в Крыму написал «Бахчисарайский фонтан», в Бессарабии – «Цыган», во внутренних провинциях писал он прелестные картины «Онегина». Теперь читающая публика наша соединяет самые приятные надежды с пребыванием А. Пушкина в стане кавказских войск и вопрошает: чем любимый поэт наш, свидетель кровавых битв, подарит нас из стана военного. Подобно Горацию, поручавшему друга своего опасной стихии моря, мы просим судьбу сохранить нашего поэта среди ужасов брани».Имя Павла Степановича Санковского,

писателя, редактора газеты «Тифлисские ведомости», чиновника особых поручений при командире Отдельного Кавказского корпуса, генерал-фельдмаршале И.Ф. Паскевиче, в первой публикации «Путешествия в Арзрум...» Пушкин зашифровал одной буквой «С».

Описывая нравы и обычаи армянских и грузинских семейств, кахетинские и карабахские вина, лавки, полные турецких и персидских товаров, поведение русских офицеров и молодых титулярных советников, Пушкин отмечал, что и те и другие приезжают сюда за чинами и «смотрят на Грузию как на изгнание». Отсюда и приключения: «Граф С. и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку». В первом пушкиноведы узнали графа Николая Александровича Самойлова, вышедшего после блестящей военной карьеры в отставку в чине полковника и жившего после Тифлиса то в Москве, то в Киеве, то в Одессе. Самойлов был последним представителем своего рода. После отставки, как писал петербургский почтовый директор А.Я. Булгаков, Самойлов «прокутил почти полмиллиона рублей». Второй из окружения Самойлова под именем «В» остался неизвестным, хотя выяснение личностей, которых Пушкин встретил во время путешествия в Арзрум, занимает не одно поколение исследователей жизни и творчества поэта.

Нас интересует, с кем общался Пушкин на Водах, обозначив своих собеседников под именами «Же...» и «Жи...» Перечитаем полностью дневниковые записи, не вошедшие в «Путешествие в Арзрум...» В них содержится, на наш взгляд, гораздо больше информации о посещении Пушкиным

Горячеводска в мае 1829 года, чем в публикации журнала «Современник»:«Я нашёл на водах большую перемену. – В моё время ванны находились в (бедных) лачужках, наскоро построенных. – Посетители жили кто в землянках, кто в балаганах. Источники, по большей части в первобытном своём виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе серные и селитровые следы. – У целебных ключей старый инвалид подавал вам ковшик из коры или разбитую бутылку. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведён по склонению Машука. – Везде чистенькие дорожки, зелёные лавочки, правильные партеры, мостики, павильоны. – Ключи обделаны, выложены камнем, и на стенах ванн прибиты полицейские предписания. – Везде порядок, чистота, красивость.

Что сказать об этом. – Конечно, Кавказские воды нынче представляют более удобностей, более усовершенствования. – Таков естественный ход вещей. – Но признаюсь: мне было жаль прежнего их дикого, вольного состояния. – Мне было жаль наших крутых каменистых тропинок, кустарников и неограждённых пропастей, по которым бродили мы в прохладные кавказские вечера. – Конечно, этот край усовершенствовался, но потерял много прелести. – Так бедный молодой шалун, сделавшись со временем человеком степенным и порядочным, – теряет свою прежнюю любезность.С неизъяснимой грустью пробыл я часа три на водах; с полностью чувства разговаривал я с любезными Же... и Жи... и старался изъяснить им мои печальные впечатления. Они меня поняли и дружески со мною простились...»

Грусть и печаль, посетившие поэта, были навея-

ны воспоминаниями о его первой поездке на Воды с семьёй генерала Раевского. Пушкин вспоминал Николая Раевского, сидевшего с ним на берегу Подкумка. Он всматривался вдаль, перед ним поднимался ввысь величавый Бешту, «окружённый горами, своими вассалами».

Полный впечатлениями и воспоминаниями о поездке на Кавказ в 1820 году, Пушкин торопливо запишет в тетради:

«15 мая

Всё тихо – на Кавказ ночная тень легла
Мерцают звёзды надо мною –
Мне грустно и легко – печаль моя светла
Печаль моя полна тобою».

Затем, это хорошо видно в рукописи стихотворения, Пушкин изменил первые строчки: в первой «ночная тень легла» заменил на «сошла ночная мгла», исправил ещё раз на «идёт ночная мгла»; во второй строке вместо «мерцают» написал сверху «восходят».

Всё тихо – на Кавказ идёт ночная мгла
Восходят звёзды надо мною
Мне грустно и легко – печаль моя светла
Печаль моя полна тобою.

Третья и четвёртая строки останутся прежними. Позднее Пушкин изменит первые две строчки и перенесёт место действия в Грузию:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

Не побывай Пушкин второй раз на Кавказе, наверное, и не было бы одного из лучших лирических стихотворений в русской литературе. Пушкин увидел будущий Пятигорск в «диком его состоянии» и в начале больших его перемен, когда он превращался в уютный, чистенький городок европейского типа. Но верно и то, что и в двадцатые годы не все приезжающие на Воды жили в землянках и балаганах. С 1811 года калмыки, астраханские и саратовские татары ставили на Водах войлочные юрты. Проживание в юрте стоило 25 рублей, а за месячный наём квартиры с приезжающих брали по 250 рублей. Первый гражданский дом в будущем Пятигорске построил в 1812 году некий чиновник Чернявский, служивший в соседней Константиногорской крепости. Пушкин в свой первый приезд летом 1820 года жил в пятигорской усадьбе предводителя дворянства Кавказской губернии (одного из первых первопоселенцев КМВ) Алексея Фёдоровича Реброва. Об этом событии напоминает мемориальная доска, установленная на доме, сохранившемся до наших дней по современной улице Карла Маркса, 6.

Побывавший в 1825 году Павел Петрович Свиньин, писатель, историк, путешественник, собиратель древностей, первый издатель журнала «Отечественные записки, написал восторженный репортаж в «Северную пчелу»: «Нет почти недуга, который бы не мог быть исцелённым на Кавказе, самая старость отряхивает здесь свою дряхлость и шестидесятилетние больные поучают бодрость

юности...» Во времена П.П. Свиньина в Пятигорске насчитывалось 65 домов, а к 1829 году – 76. А у подошвы горы Горячей на берегу Подкумка образовалась Кабардинская солдатская слободка из 59 домов.Репортаж в виде письма к издателям «Северной пчелы», отмечали исследователи, больше напоминал сказку. Но в штабе Кавказского корпуса к сей сказке отнеслись с удовлетворением: репортаж П.П. Свиньина привлекал на новый южный курорт российскую гражданскую публику.

Начало большого строительства на Водах историки связывают с именем генерала А.П. Ермолова. Алексей Петрович был назначен Кавказским наместником в 1816 году. «Кавказ – это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Штурм будет стоить дорого, так поведём же осаду», – в этих словах Ермолова заключена целая программа его десятилетнего правления. Но кроме военных задач, Ермолову предстояло решать и гражданские задачи. Для этого нужны были люди, много людей, деятельных, инициативных, энергичных, чтобы привести «гибельный Кавказ» в процветающий край. Ермолов полюбил Кавказ, его природу и его суровую жизнь. Центром управления огромным краем была древняя, насчитывавшая едва ли не полторы тысячи лет, столица многострадальной Грузии Тифлис. На восток от Военно-Грузинской дороги лежали Чечня и Дагестан, на запад – Кабарда и Закубанье, на север – Кавказская губерния, преобразованная в 1822 году в Кавказскую область с четырьмя уездами – Георгиевским, Кизлярским, Моздокским и Ставропольским. И с центром в Ставрополе. Реформы по управлению краем начались сразу же, в первый год ермоловского правления.Повсюду началось возведение штаб-

квартир на местах постоянной дислокации войск, перевод солдат из казарменного на полуоседлый, полуказацкий быт. Сохранилась собственноручная записка Ермолова «О мундирах, амуничных и прочих вещах статами (видимо, штатным расписанием. – прим. авт.) положенных, в которых, по мнению моему, нужно сделать некоторые перемены». Главнокомандующий добился «в верхах» разрешения носить солдатам вместо неудобных и тяжёлых киверов папахи и бараньи шапки, а вместо громоздких и мешающих в горном походе ранцев – холщовые мешки. Зимой вместо шинелей солдаты носили полушубки. Ермолов запретил изнурять солдат «строевыми экзерциями», увеличил рядовым и унтер-офицерам мясную и винную порцию, а солдатам частей, расположенных по берегам Чёрного и Каспийского морей (по нездоровому климату) и в Тифлисе (по дороговизне жизни), выхлопотал на улучшение питания двадцать копеек серебром.

До приезда Ермолова на Кавказ войска Отдельного Грузинского (с 1820 года – Отдельного Кавказского. – *прим. авт.*) корпуса страдали от болезней и эпидемий не меньше, чем от стычек с неприятелем. Сырые ущелья, холодные перевалы, гнилые болотистые места с их неизменным спутником – лихорадкой, – всё это угнетающе действовало на солдата, особенно на новобранца. В одном из донесений Ермолов писал Александру I: «Устрою казармы вместо убийственных землянок, госпитали, лазареты... Уничтожу многие из постов, куда назначение офицеров и солдат есть смертный им приговор...»

Побывав впервые в Горячеводске и, ознакомившись с положением дел на Водах, Ермолов с огромной энергией взялся за строительство на Кавказе

лечебных и оздоровительных учреждений. Начало расцвета Горячеводска приходится примерно на 1823 год. Ермолов понимал, что для создания популярного курорта в предгорьях Кавказа нужны значительные затраты и, самое главное, «строить курорт надо с европейским размахом, с помощью способных архитекторов». И он обращается к графу В.П. Кочубею, управляющему Министерства внутренних дел России, с просьбой прислать «толковых архитекторов».

Из письма управляющего Министерства внутренних дел графа В.П. Кочубея главнокомандующему Кавказским корпусом генералу А.П. Ермолову: «Милостивый Государь мой Алексей Петрович, я имел честь получить письмо Вашего Высокопревосходительства, на которое долгом считаю сообщить Вам, Милостивый Государь мой, следующее:- По неимению в виду хорошего и знающего дело своё архитектора, я боялся снабдить вас таким, который испортит строения, столь важного капитала стоящие, мог бы причинить напрасную потерю казне и вам неудовольствие. Опыт многократный научил меня уже принимать в сём случае возможные осторожности, следуя коим и согласил я каменных мастеров Бернардацци отправиться к вам. Оба они известны здесь как люди, имеющие хорошие сведения в архитектуре и приобретшие большой опыт, так что один из них в должности архитектора определён при Кабинете Государя Императора. Звание каменных мастеров сохраняют они потому только, что с оными выехали из Италии, но на самом деле они очень хорошие архитекторы, и я надеюсь, что опыт удостоверит вас в том мнении, какое я об них имею. С совершенным почтением и преданностью имею честь быть Вашего Высокопре-

восходительства покорнейший слуга».

На Кавказ архитекторы Бернардацци прибыли, имея на руках контракт следующего содержания:

«Контракт архитекторов Ивана и Иосифа Бернардацци с Медицинским департаментом Министерства внутренних дел на строительство зданий при Кавказских Минеральных Водах.

21 августа 1822 г.

С.-Петербург 1822 г. августа 21 дня

Мы, нижеподписавшиеся архитекторы Иван и Иосиф Бернардацци, дали сие обязательство в Медицинском департаменте Министерства внутренних дел в том, что мы обязуемся ехать на Кавказ, где минеральные воды, и производить постройку по планам и по фасадам бань и пр. к ним принадлежащих зданий на нижеследующих кондициях:

1. Производить нам жалованье каждому по 4000 руб. в год ассигнациями, начав оное со времени отправления нашего туда из С.-Петербурга, и получить оное здесь впредь за треть;

2. На проезд из С.-Петербурга до Георгиевска так и оттуда обратно в С.-Петербург выдать нам прогоны каждому на три лошади, равным образом там на месте, ежели какие будут поездки касательно до строения, выдать нам прогоны каждому на 2 лошади;

3. По прибытии нашем на место дать нам приличные квартиры с отоплением и освещением;

4. Для присмотру в производстве работ иметь нам отсюда по нашему выбору десятника на казённый счёт;

5. Во время производства строений никто в практические работы не имеет права вмешиваться;

6. Чтобы положенные в смете материалы для

оных строений были доставлены по нашему требованию в надлежащей доброте и без замедления.

Подписи

Архитектор Giovanni Bernardazzi

Архитектор Giuzeppe Bernardazzi»

Вместе с архитекторами Бернардацци в Горячеводск прибыл ещё один важный человек, незаменимый помощник в их делах, о чём свидетельствует архивный документ:

«Предписание министра внутренних дел В.П. Кочубея генералу А.П. Ермолову об определении десятником крепостного крестьянина Якова Зиновьева на Кавказские Минеральные Воды». Ранее приезжавшие на Воды квартировали в двух верстах от источников, в обветшалой Константиногорской крепости, основанной в 1780 году. И дважды в день ездили на Воды, а за продовольствием посылали в Георгиевск, за тридцать вёрст. Зачастую же приезжавшие на Воды из центральных губерний России везли с собою одежду, обувь, продовольствие, кухонную утварь, палатки, материалы, из которых затем сооружали возле источников что-то похожее на временное жильё. Чтобы покончить с беспорядочной застройкой вокруг Горячего источника, по представлению Главнокомандующего Отдельного Кавказского корпуса А.П. Ермолова в 1822 году учреждена Особая строительная комиссия, на которую было возложено составление проектов, руководство сооружением зданий. Старые, пришедшие в ветхость ванны, по приказу Ермолова сломали. На их месте построили новую деревянную купальню, которая получила название Ермоловской. Просуществовала она до 1874 года. Все новые постройки, разработанные под наблюде-

нием архитекторов Джузеппе и Джиованни Бернардацци, выполнялись только в стиле классицизма, и по составленному ими генеральному плану города Пятигорска.

Жителей Константиногорской крепости отныне селили ближе к источникам. Строительная комиссия отводила им под строительство домов участки, что послужило основанием будущего Пятигорска. В 1825 году в будущем Пятигорске насчитывалось 65 домов, а к 1829 году – второму приезду Пушкина на Воды – было построено 76 домов. А в следующем 1830 году Николай I утвердил Положение Комитета Министров «Об учреждении при Кавказских Минеральных Водах нового г. Пятигорска и о переводе туда присутственных мест из г. Георгиевска». Ещё 59 домов возвели у подошвы горы Горячей на берегу Подкумка, образовав таким образом Кабардинскую солдатскую слободку. Она возникла тоже благодаря Ермолову. Уволенные в отставку солдаты селились здесь же. На Кавказе закладывалась семейная, оседлая жизнь закавказских и линейных полков. А солдатские жёны, приспосабливаясь к суровым условиям, были не только хозяйками и матерями, но и разделяли с мужьями их воинские заботы. В своих воспоминаниях Ермолов писал, что видел солдатских жён, «которые хорошо стреляли в цель...»

Народ сохранил память о ротах женатых солдат: это их руками выстроены знаменитые ныне курорты Пятигорска и Кисловодска. Многие, построенные в те годы жилые дома, общественные здания, сохранились до наших дней. В 1826 году на южном склоне горы Машук архитекторы Бернардацци закладывают капитальное одноэтажное здание Николаевских ванн на шестнадцать кабин. Строи-

тельство велось в строгих формах классической архитектуры первой четверти XIX столетия. Болотистое место перед ваннами архитекторы превратили в роскошный цветник. Николаевские ванны были лучшими на курорте. В настоящее время они являются архитектурно-художественным памятником и носят наименование Лермонтовских.Рядом по проекту петербургского архитектора И. Шарлеманя возвели здание знаменитой «Реставрации» (ныне Институт курортологии. – прим. авт.), построили офицерский дом для неимущих офицеров, дома для офицеров и солдат Кавказского корпуса, чиновников, купцов. Архитекторы думали не только о жилье. Из Георгиевска к будущему Пятигорску проложили удобную дорогу. В городе соорудили каменный водопровод, подземный канал для стока воды, заложили бульвар, «обсаженный липками», построили беседки, гроты, павильоны... За Пятигорском посадили обширный сад, основу которого составляли персиковые, абрикосовые и сливовые плодовые деревья.

В Кисловодске, на месте которого Ермолов увидел земляную развалившуюся крепость Кислую, четыре заржавленных чугунных пушки, домик коменданта, казарму для солдат, источник, окружённый полусгнившим плетнём, шалаши, наскоро сооружённые приезжающими на Кислые Воды, Алексей Петрович первым делом приказал поставить калмыцкие кибитки. На следующий год по его распоряжению привезли в Кисловодск из Астрахани деревянные домики. Затем построили первую деревянную гостиницу, заложили сад для прогулок, у колодца с минеральной водой построили небольшие ванны. Алексей Петрович, показывая пример сослуживцам, делал пожертвования на

обустройство минеральных вод из собственного жалованья. «У сих вод, – писал он, – израненный солдат, восстановивший силы на продолжение верной Отечеству службы, благодарить будет за попечение о нём...»

Большую часть времени генерал Ермолов проводил в Тифлисе, поэтому наблюдение за строительством и благоустройством курортов на Кавказских Минеральных Водах он возложил на командующего войсками Кавказской линии генерала Георгия Арсеньевича Еммануеля (в среде московских и санкт-петербургских исследователей сегодня принято писать: Георгий Арсеньевич Эммануэль. – прим. авт.). «В течение пятилетнего управления ген. Емануеля, – писал известный врач того времени Ф.А. Баталин, – Горячеводск совершенно преобразился: из невзрачного бедного поселения он превратился в чистенький беленький городок, до половины утонувший в зелени... В своих трудах по устройству Горячеводска Эммануель нашёл деятельных помощников в двух братьях Бернардацци, состоявших при Водах в качестве архитекторов от правительства, то были люди честные, деятельные, художники в душе и практики в деле... По их планам и под их надзором выстроился Пятигорск». Современники отмечали, что бурная деятельность талантливых зодчих братьев Бернардацци на Кавказских Минеральных Водах выходила за рамки контракта, подписанного ими с правительством. «Они, – писал владикавказский исследователь Г.С. Кусов, – создавали архитектурное лицо города, контролировали строительство, добывали камень, рубили лес для подогрева воды, пропагандировали своё детище с помощью рисунков, литографий, чертили планы. Разъезжали в

поисках стройматериалов и котлов для подогрева воды по Кавказу и России. Из одной такой поездки братья привезли чугунные изделия, отлитые на луганском заводе в 1829 году».

В фондах Государственного литературного музея в Москве исследователь обнаружил литографию, выполненную по рисунку Иосифа Бернардацци. На ней запечатлено красочное графическое изображение центральной части города-курорта, который увидел Пушкин в свой второй приезд на Кавказ: на одном из пригорков фигура барыни; офицеры, наблюдавшие за двумя дамами с собачкой, поднимающийся в гору возок, открытый экипаж, богатая карета голубого цвета, возница с раскрытым зонтом на облучке. И всё это на фоне добротных строений.В конце XIX века посетители грота Дианы в Пятигорске с любопытством осматривали две чугунные доски с текстом на русском и, как утверждал Баталин, на одном из туземных языков. Вот этот текст: «В царствование Всероссийского императора Николая I здесь стоял лагерем с 8 июля 1829 года командующий Кавказской линии генерал от Кавалерии Георгий Эмануэль: при нём находились сын его Георгий 14 лет, посланные Российским правительство Академики: Купфер, Ленц, Менетрие и Мейер, также чиновник Горного Корпуса Вансович, Минеральных Вод Архитектор Иос. Бернардацци и Венгерский путешественник И. Бессе.Академики и Бернардацци, оставив лагерь, расположенный на 8000 футах (т. е. 1143 саженях) выше морской поверхности, входили 10-го числа на Эльбрус до 15700 футов (2242 саженей), вершины же оного 16330 футов (2333 саженей) достиг только кабардинец Хилар...»

Так младший из братьев Бернардацци оказался

не только участником известной экспедиции, организованной героем Отечественной войны 1812 года, обрусевшим сербом, генералом Георгием Арсеньевичем Еммануелем, но и свидетелем первого покорения высочайшей вершины Кавказа: 22 июля 1829 года на восточную вершину Эльбруса поднялся проводник, кабардинец Киллар Хаширов. Иосиф Бернардацци оставил большую коллекцию кавказских рисунков, в том числе изображение покорения Эльбруса.

Братья Бернардацци не вернулись на родину, в Швейцарию. Они посвятили всю свою жизнь, свои знания и своё мастерство созданию курортов Кавказских Минеральных Вод. Делали они это бескорыстно, жили на скромное жалованье, не гонялись за чинами и орденами. Их подвиг по-настоящему оценил лишь Ермолов. Покидая Кавказ в мае 1827 года, он специально заехал в Горячеводск и вручил старшему из братьев алмазный перстень. Не Ермолов ли посоветовал Пушкину познакомиться с братьями Бернардацци, когда поэт отправился на Кавказ во второй раз? В подробном плане горячеводских строений с перечислением домов того времени нет ни чиновников, ни военных с фамилиями, начинающимися на «Же» и «Жи». В архивных документах, в старых справочниках, в описаниях Кавказских Минеральных Вод итальянских архитекторов Джиованни и Джузеппе Бернардацци называют нередко русскими именами Иван и Иосиф.

Пушкин, видимо, собирался рассказать в «Путешествии в Арзрум...» о талантливых зодчих Кавказа. В его черновиках просматривается план этого рассказа: а) Горячие воды в 1820 году; б) появление на окраине России города-курорта; в) знакомство и

разговор с зодчими Вод. Во время подготовки «Путешествия...» к печати Пушкин сократил текст, отдельные его части переписал. Упоминание о любезных «Же...» и «Жи...» осталось лишь в черновиках его кавказского дневника.

На старом пятигорском кладбище, недалеко от места первого захоронения М.Ю. Лермонтова, на возвышении, откуда видна панорама центральной части Пятигорска, сохранился необычной формы памятник: каменная пирамида на постаменте. Утверждают, что именно здесь похоронены братья Бернардацци. Первым умер младший из братьев Джузеппе в 1840 году, вторым – старший Джиованни в 1842 году. Первому было 52 года, второму – 60 лет. Пятигорск помнит талантливых зодчих: одна из его улиц носит имя братьев Бернардацци. В книгах современных авторов по истории городов Кавказских Минеральных Вод обязательно упоминаются их имена и их добрые дела.

Пушкин писал: «Кавказский край, знойная граница Азии – любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и своим гением...» Рядом с именем Ермолова стоят имена и братьев Бернардацци.

Судьба алмазного перстня, подаренного Ермоловым старшему из них, безвестна.

«Такой родной, щемящий мир...»

ЮРИЙ ТИМАШЕВ

Литературоведение

Птичьим гомоном даль говорила.
Таял лёд и помалкивал сад.
Я какую-то дверь отворила
И уже не вернулась назад.
Раиса Котовская

– А не пригласить ли нам кого-нибудь из поэтов? Такая встреча привлечёт в наш студенческий клуб многих студентов, и это будет здорово!..

С таким предложением ко мне, первокурснику, в январе 1972 года обратился преподаватель Пятигорского пединститута иностранных языков В. Запорожцев. И тут же (как своему заместителю по клубу) дал задание:

— А сходите-ка вы в редакцию «Кавказской здравницы». Там подскажут.

Меня приветливо встретила Светлана Заикина (как я потом узнал — автор лирических стихов и сборника рассказов «Казачий пояс», через восемь лет трагически погибшая во время журналистской командировки). Ни секунды не раздумывая, она сказала:

— Пригласите к себе Раису

Котовскую – очень талантливая поэтесса. Думаю, она будет рада.

И вот я в небольшом, уютном городе Лермонтове, на улице 1 Мая. Звоню в квартиру на втором этаже.

На звонок вышла молодая женщина с ясными глазами и доброй улыбкой.

Я представился, пригласил поэтессу в институтский клуб.

– Приеду с удовольствием!

Встреча удалась — в клубе не было ни одного свободного места. С чувством, будто заново переживая волновавшие её когда-то мгновения, Раиса Котовская читала наизусть свои стихи:

Чёрный час. От меня ничего не таи.
Мои руки - твои. Твои руки - мои.
Под холодной луной, посреди ли страны
Мои ночи трудны. Твои ночи трудны.
Ну, дождёмся зари...
А влеченье гони,
Места нету внутри
Для любви, для любви.
Это наша поляна. И наша река.
И никто их у нас не отнимет пока...

Какая-то огромная внутренняя сила чувствовалась в нашей гостье. Возникло ощущение: она всецело живёт поэзией и твёрдо уверена - ей есть что сказать людям.

И потом, не раз, судьба сводила меня с поэтессой из Лермонтова. Бывая по учебным делам в Пятигорске (Раиса Николаевна работала проводницей на железной дороге и училась заочно в Ставропольском пединституте, а в ПГПИИЯ был его

консультационный пункт), она рассказывала мне о своей работе, делилась творческими планами.

Хочу отметить огромное трудолюбие Раисы Котовской. По каждому учебному предмету у неё были подробные конспекты. Но особенно любила она читать словари. «Толковый словарь» Даля Котовская просила в центральной лермонтовской библиотеке на выходные дни и, страница за страницей, переписывала в общую тетрадь. С уважением отзывалась о произведениях Андрея Платонова. Изучала творчество Бодлера, Апполинера, Рембо и других знаменитых зарубежных поэтов. В течение многих лет выписывала журналы «Литературная учёба» и «Наука и жизнь». Её настольной книгой был «Поэтический словарь» А. Квятковского.

Она была по-женски привлекательна, но за модой не гналась. Не раз, после окончания поездок в качестве проводницы, я видел её в недорогой кожаной курточке, с цветастым термосом с какао в простенькой сумке.

Была памятлива на добро. В 1971 году я подарил ей «Краткий этимологический словарь», и она с благодарностью вспоминала об этом и через десять, и через двадцать, и через тридцать лет.

Была скупа на похвалу. Её высшей похвалой начинающему поэту, в присутствии других, было: «Он чувствует Слово».

Хотя на дворе был уже XXI век, так и не научилась звонить по сотовому телефону (или - не хотела?) Приверженец классической традиции в поэзии, не любила вычурности, умничанья в стихах.

На письма отвечала без промедления. И если

кто-то хотел узнать её мнение насчёт стихотворения или рассказа, обязательно высылала рецензию – взвешенную, с указанием мест, над которыми надо поработать.

Поэтесса жадно впитывала в себя интересные факты. Как-то я рассказал ей о том, что в Древнем Риме поэтов считали связанными с богами, и поэтому их запрещалось казнить.

— Это тема для стихотворения! – встрепенулась Котовская. — Привези мне книжку, где это написано!

Но эта, небольшого формата книжка, как на грех, куда-то запропастилась. И, к сожалению, стихотворение на эту тему написано не было.

С юных лет была у Раисы Котовской заветная мечта – поступить в Литературный институт имени М. Горького в Москве. Очень непросто было ей пройти сквозь конкурсное «сито», но, в конце концов, свою мечту она осуществила – поступила на заочное отделение. Помню её рассказ, после первой сессии, о богемной атмосфере в Литинституте, где чуть ли не каждый студент считал себя гением. Полушёпотом (будто боясь, что подслушает кто-то посторонний) говорила она о намёке Валентина Катаева что Маяковский не сам застрелился, а ему «помогли» это сделать. (В то время такая версия – впрочем, одна из многих – звучала довольно смело). Запомнился один анекдот, услышанный ею в стенах Литинститута:

— Жил король – хромой, одноглазый, с горбом. И вот приглашает он одного живописца: «А нарисуй-ка ты, братец, мой портрет! Награжу — не пожалеешь».

Художник был сторонником реалистической манеры в искусстве и поэтому нарисовал владыку

таким, каким он был: хромым, одноглазым и горбатым.

Король взглянул на портрет и приказал: «Казнить!»

Через несколько дней зовёт другого художника и делает ему тот же заказ: «А нарисуй-ка, ты, братец, мой портрет! Награжу — не пожалеешь. Сроку тебе — три дня».

Зная о судьбе своего коллеги, художник задрожал как осиновый лист. Заперся в своей мастерской, два дня пил беспробудно. А на третий взялся за кисть и стал уверенно рисовать...

Через три дня твёрдой походкой заходит во дворец:

— Готово, Ваше Величество!

И сорвал с портрета покрывало. Чтобы никто не видел хромоту короля, художник усадил его на коня. А чтобы было незаметно, что нет одного глаза — повернул короля той стороной, где глаз был. Не стало видно и горба: художник изобразил короля со щитом в руке.

Долго смотрел король на портрет: к чему бы придраться? Вроде он – и не совсем он, но до чего же приятно: не видно ни одного физического недостатка. Портрет ему очень понравился.

— Ну что же, братец, ты с заданием справился! Но скажи мне честно: как это ты ухитрился – так меня изобразить, что и придраться не к чему?

— Очень просто, Ваше Величество! Взял на вооружение метод социалистического реализма.

От Раисы Котовской я впервые услышал о Николае Рубцове. С искренней печалью она рассказала о трагической гибели несравненного лирика. По словам поэтессы, сожительница

попросила у Рубцова рекомендацию для приёма в Союз писателей, но он, не желая продвигать бездарность, отказался. И – поплатился жизнью.

Особенно нравилось Котовской рубцовское стихотворение «Добрый Филя». До чего же выразительно она читала его наизусть... А последнюю строфу:

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
– Филя! Что молчаливый?
– А о чём говорить?

– поэтесса произносила с особой интонацией. Как бы давая понять, что не так-то он прост, как кажется на первый взгляд, этот деревенский Филя! А говорить, нам всем, причём не только на кухнях, есть очень даже о чём.

Очень нравился ей также «Поезд» Рубцова, с его, как оказалось, замаскированным под иронию пророческим концом:

И какое может быть крушенье
Если столько в поезде народу?

Для друзей Раиса Котовская не жалела ничего. В её небольшой, скромно обставленной двухкомнатной квартире находили приют в трудные для них моменты подруги по работе — проводницы, и гостеприимная хозяйка на время забывала о своём высоком призвании: жарила картошку, варила борщ для гостей. В восьмидесятые годы я услышал уважительный рассказ о том, что поэтесса уступила свою очередь для печатания книги в краевом издательстве начинающему поэту. Одному из своих друзей, внезапно оставшемуся без работы, она написала рекомендательное письмо в Ставро-

поль, и друг был трудоустроен.

Как-то услышал от неё: «А я не смогла бы работать в газете...» Но, думается, дело было вовсе не в её неумении (дай Бог каждому так чувствовать Слово, как его чувствовала Раиса Николаевна). Просто она не хотела распылять свой талант, менять своего поднебесного творческого журавля на приземлённую, хотя и материально выгодную, синицу.

Как рассказала мне знакомая, Котовская пробовала себя в качестве учителя, но вскоре ушла из школы. В лицо критиковала начальство за стремление приукрасить показатели, а кому это понравится?

А одному (достаточно влиятельному!) графоману прямо заявила: «Я не буду работать с вашими стихами: у вас нет литературных способностей». Хотя и могла бы неплохо заработать.

После первой публикации в минераловодской газете «Коммунист» (в 14 лет!) стихи Котовской не сходили со страниц краевых газет и журналов в течение 42 лет! Целая жизнь, наполненная бескорыстным служением Слову.

Во времена, когда от авторов требовалось неукоснительно соблюдать требования социалистического реализма, то есть приукрашивать действительность, Котовская сумела сохранить своё «я», не стала калечить свои стихи в угоду прокрустовым партийным установкам. На творческом семинаре в Ставрополе (это было в семидесятые годы) какой-то чиновник от литературы стал, с «железобетонных» позиций соцреализма, придираться к стихам Котовской. «А мне мои стихи — нравятся! — решительно заявила Раиса. -

Я пишу, как мне велит моя душа». И продолжала писать в своей неповторимой манере. (Лично я прочитал практически все её стихи – и не обнаружил ничего конъюнктурного, написанного в угоду властям).

Чтобы читатель лучше понял, каким человеком была Раиса Котовская, в каких условиях жила и творила, о чём мечтала, позволю себе привести здесь фрагменты из её писем к автору этих строк.

Без даты: *«У нас радость такая: вышла книжка Новеллы Матвеевой «Ласточкина школа», говорят, очень хорошая. Ты следи, может, скорее встретится тебе, чем мне.*

А новость такая: 14 марта мы поедем в отпуск в Москву... Я там похожу по книжным магазинам, если что хорошее попадётся, возьму себе и тебе...

В обычные дни я торчу в Мин-Водах, ухаживаю за кроликами; мои родные уехали в Душанбе, а меня оставили с детишками и с кроликами. «Армия короедов» – зову их про себя.

С 18 марта в Москве будет совещание молодых поэтов и прозаиков. Несмотря на все хлопоты Смольникова (секретарь Союза писателей СССР.-Ю.Т.) меня туда не послали наши. Но я сама туда попаду, чтоб послушать семинары.

Пишу мало, не знаю, что со мной. Наверно, одиночество сказывается. В «Кавказской здравнице» к 8 Марта должны быть мои стихи, а какие, не знаю. А пока я тебе напишу одно, подарю к весне, может, и у тебя станется праздничное настроение, передастся.

Птичий посвист весенний, нестройный,
Вызывает меня в тишине...

Кто уже отогрелся и вспомнил
И теперь загрустил обо мне?
Я в окошко гляжу и вздыхаю.
Принаряжена новым платком…
Всё грущу и грущу, и не знаю
И сама ещё толком: о ком?»

17 марта 1972 г.: «*Высылаю тебе новое стихотворение.*

Прощание

Старый странный обычай —
На прощанье прощенья просить.
Улыбаться от чистого сердца
Из окон бегущих трамваев!..
Было так: я и друг,
Я – с букетом прощённых обид.
И нечаянно рейс отклоняют.

И лежат самолёты
Ничком на метельной земле.
И на аэролиниях
Красные лампочки сонно моргают.
Мы в пространстве одном.
Мы молчим, а букет
Жалит руки и весь опадает.

Аварийный обман,
Льстивый праздник потерь – получай!
Я взлюбила тебя
Уязвлённой любовью.
Говоря не «прости же меня, наконец»,
Но «прощай»,
Подрывая мосты за собою.

(Насколько мне известно, этого стихотворения нет ни в одном сборнике Р. Котовской).

22 января 1980 г.: *«Начинаю с просьбы. Вышла кассета (7 книжек в одной обертке) в Ставропольском книжном издательстве, называется «Поэтическая радуга Ставрополья». Там в числе 7 маленьких книжек – и моя первая. Но тираж ничтожный – 2 тыс. экземпляров. У меня пока ни одного. Всё мгновенно разошлось. Юра, посмотри, где можешь, и купи, сколько денег хватит (я верну).*

В «Современнике» в плане я на 1981 год, так что, раньше следующего года нечего и смотреть.

...У меня всё по-старому. Недавно моему Алёше (старшему сыну.– Ю.Т.) сделали операцию, я провожу в больнице дни и ночи. Измучилась, издёргалась... »

13 февраля 1980 г.: *«...Юра, поздравляю тебя с получением жилья. Это очень большой праздник. Человек без своего жилья всё равно что лодка без весел...*

... Все мы, как можем, распихиваем заботы, бьёмся, спешим, прыгаем на ухабах бытия. Ничего, лишь бы живым остаться. Чего тебе и желаю».

22 августа 1980 г.: *«Знаешь, я передумала менять шило на мыло – Клюева на Фета. Я бы поменяла на Дм. Кедрина. Разведай, может, у неё (женщины, имевшей доступ к книжному дефициту.- Ю.Т.) есть Кедрин? Чудный поэт. И близкий мне по духу. Хотя бы почитать как следует – не могу достать».*

12 января 1981 г.: *«Всё хотела черкнуть, да всё*

никак не могла: закрутилась с малышом. Малыша назвали Константином, ему уже 4-й месяц. Пока очень трудно. Искусственник, а на дворе ОРЗ, потому что нет морозов.

...Книги можно выслать, но тогда оцени подороже. Я читала в «Литературке», что почта стала заматывать книги».

15 марта 1981 г.: *«...Я тут развернула деятельность: хочу переехать в Мин-Воды жить. Пока трудности с обменом квартиры (она у меня ведомственная). Но если получится, буду радоваться, начну жить сначала.*

Книжка в «Современнике» выйдет не раньше мая, ещё и верстка не готова. Я тогда тебе сообщу. Тираж маленький – 10 тыс. экз. На край дадут всего 50 экз. Так что придется гоняться за книжкой еще больше, чем за прежней.

В январе выйдет наконец на Ставрополье большая книжка, там уже 50 стихотворений..

Очень некогда. Готовлюсь к экзаменам, делаю контрольные – вся в мыле. А на дворе, между прочим, такая чудная весна начинается!»

18 апреля 1981 г.: *«Через месяц-два должна уже поступить в продажу моя «Станция формирования» (издательство «Современник», серия «Первая книга в столице», 1981.). Зайди, пожалуйста, в свой книжный магазин, сделай заявку хотя б на 10 экземпляров. И нужно проследить, чтобы они их все-таки не продали.*

Посчитала я: только подарить надо 18. А в Лермонтове мне дадут только 5.

– Я уже читала верстку – составлена книжка неплохо, хотя кое-что я уже сама бы выбросила. Как выйдет – обмоем».

2 августа 1981 г.: *«Поздравь: я вышла к диплому, всё сдала.*

Мне опять пишется. Есть стихи очень удачные. Книжка должна выйти летом. Но пока ещё не видела верстки. Хотя аванс уже получила.

Дай мне Заболоцкого почитать! Я его очень плохо знаю. Если у тебя есть сборничек стихов Прасолова (современный, недавно погибший, поэт), привези. А если нет – следи. Его пока еще не знают спекулянты, можно будет достать. Я тебя познакомлю с маленькой книжкой, какая у меня есть».

29 августа 1981 г.: *«Прочла Заболоцкого. Все ранние стихи вплоть до 1935 года очень ученические, беспомощные. Но зато потом!..*

Теперь бы достать удачного Дмитрия Кедрина. Поразведай, может, у кого есть, и узнай, если нападешь, на что могут обменять или за сколько продать.

Как тебе там живётся? Как мне или еще хуже?»

29 октября 1982 г.: *«У меня много перемен. В СП за меня проголосовали все, рекомендовали, если 1 ноября утвердят в Москве, то всё будет нормально. В мае получила диплом, а в конце июля начала работать в Ставрополе на должности ответ. секретаря альманаха «Ставрополье». Всё это время домой наезжала только на выходные, но теперь нашла квартиру для обмена и, думаю, до праздников уже переберемся в Ставрополь всем семейством.*

Тогда-то, может, будет время доработать новую книгу, вывести ее в люди. А пока что очень некогда. Это моя основная трудность».

23 января 1995 г.: *«Годы, действительно, переломные, многих вокруг переломали, и я очень рада была услышать интонации человека, не сломленного ими... Ведь как это ни старомодно звучит, мы с тобой – современники, и с годами это обстоятельство, оказывается, дорожает. Так что, если будешь в Мин-Водах, обязательно заходи (что напишешь в письме?)*

В одном из ближайших номеров газеты «Кавказский край» должен пройти мой материал (беседа со священником). Если интересно, прочти, поделишься потом впечатлениями...

P.S. Привези для меня несколько номеров Вашей газеты - почитать».

Как рассказала мне Котовская, в краевой писательской организации многие «деды» не хотели принимать её в Союз писателей СССР. И тогда решающую роль сыграла «Станция формирования» – сборник стихов, вышедший в 1981 году в столице.

С благодарностью отзывалась Раиса Николаевна о писателе Юрии Бондареве. Будучи в начале восьмидесятых в Ставрополе и узнав, в каких стеснённых условиях живёт член Союза писателей СССР, известная поэтесса, мэтр выразил недоумение по этом поводу в крайкоме КПСС, и через три дня жилищный вопрос был решён – городские власти выделили Котовской и её семье (она, муж и два сына) просторную квартиру.

Только тёплые слова слышал я от неё в адрес её подруг – ставропольских поэтесс Валентины Слядневой и Елены Ивановой, которых она искренне уважала за человеческие качества и талант.

Нет, наверное, в нашем крае города и района, где бы – одна или в составе писательской делегации – не побывала Раиса Николаевна Котовская. Помню её встречи с работниками георгиевской милиции, юными участниками музыкально-поэтического клуба «Родники», выступление на Дне города в Георгиевске в сентябре 1995 года. С первых же минут она устанавливала контакт со слушателями, а её грудной голос прямо-таки завораживал, побуждал без остатка погрузиться вместе с ней в прекрасный мир поэзии.

Всерьёз занимающимся литературным творчеством будут полезны рекомендации поэтессы: «В поэзии не надо актёрствовать, лицедействовать. И рассудочность портит стихи. Должно быть больше искреннего чувства, переживания. А ещё нужно различать, где граница между добром и злом, иначе слово твоё не так, как надо, отзовётся. Можно взять избитую тему, но она должна быть так повёрнута, чтобы ощущалось твоё мировоззрение. Чтобы все видели: ты – неповторимый человек, только ты можешь так написать. Зарифмовать нетрудно, если руку набил. А можно и банальные рифмы (типа «розы – морозы» так употребить, что они по-новому зазвучат».

– Русская литература почему самая известная в мире? - неожиданно спросила Раиса Николаевна и ответила: – Потому что она, в отличие от западноевропейской, никогда не ставила во главу угла материальное – разбогатеть, построить себе коттедж, и так далее. Русский человек, герой нашей литературы, рассуждает так: «Иметь коттедж, шикарный особняк – это, конечно, неплохо, но разве ради этого я живу? Я же с собой, в мир

иной, коттедж не захвачу». И здесь неизбежно возникает вопрос о совести: «Почему я кого-то обманул, сделал подлость ближнему?» Когда человек прорывается к духовности, он становится чище. Большая внутренняя работа идёт у верующего. Нравится чужая жена? Это нельзя. Кто-то просится на роль кумира? Это нельзя...

И закончила обобщением: «Мы более семидесяти лет были атеистами, и до чего это довело? Великая страна развалилась...»

Наверное, что-то о человеке говорят и песни, им любимые. Среди пластинок, что были в первой квартире поэтессы, мне врезалась в память одна (увы, названия не помню):

Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи,
И пустота, и пустота
В твоём зажатом кулаке...

И она, словно предчувствуя преждевременный уход, спешила наполнить смыслом каждый отпущенный ей день. Как и все истинные поэты, Раиса Котовская остро осознавала перед временем свой долг как Художника Слова, не жалуясь на посылаемые ей испытания: («Трясёт меня жизнь словно груша, /Чтоб падали наземь стихи»). О чём бы ни писала лауреат Губернаторской премии в области литературы и искусства, – во всех её стихах чувствуется трепетное биение сердца, неизбывная любовь к своим дорогим землякам: «Доска почёта в маленьком селе, / Открытые, бесхитростные лица... /Как жили вы на пахотной земле, /Чтобы на ней с почётом утвердиться?..».

Она была против того, чтобы поэты выплёски-

вали на бумагу отчаяние и печаль, заражая ими своих читателей. От её стихов в душе появляется светлое чувство: а жизнь всё-таки прекрасна!

Мне добрый друг принёс плохие вести.
А я сказала: «Будет, старина!
Давай поблагодушествуем вместе
За чаркой прасковейского вина».

У дома осень поздняя стояла.
Туман да сырость – ничего вдали...
Мы яблоки достали из подвала,
Наговорились, душу отвели.

И говорить старались не о мелком,
Чтоб мелкие заботы отпугнуть.
А, скажем, о летающих тарелках,
О смерти и о гениях чуть-чуть.

Дрова горели с трепетом и треском,
Когда в оцепенелой тишине
Как будто кружевную занавеску
Задёрнул кто снаружи на окне.

Большая сила мёртвая стояла
В тот миг за нею-
Это был мороз.
Мы вышли в ночь. Вселенная сияла
Кристаллами прорезавшихся звёзд.

Мы вышли в ночь и сразу замолчали:
Она была прекрасна, велика.
Мы устыдились маленьких печалей.
А крупных не предвиделось пока.

Очень жизнелюбивая, сострадающая чужому горю, – такой запомнилась мне Раиса Котовская. Году примерно в семьдесят третьем, случайно встретившись с ней на главной улице Пятигорска, я обратил внимание на её печальный вид. На вопрос, что с ней, услышал: «На моих глазах женщина под электричку попала...» И рассказала, как сама однажды чуть не погибла: «Очутилась среди путей, а навстречу – состав. А слева и справа – вагоны. Пришлось лечь между шпал...»

Кстати, погибнуть Раиса Котовская вполне могла и перед самым своим рождением. Со слов её сестры Любови, работавшей на краевом радио, когда их мать, Анна Архиповна, почувствовала родовые схватки (это было поздно вечером, накануне 6 января 1951 года, в молдавском городе Бельцы), глава семьи, железнодорожник Николай Иванович Котовский, повёл свою жену в роддом. Откуда ни возьмись – два бандита с ножами: «Снимайте пальто!» Но бывший фронтовик не растерялся и хорошенько огрел сначала одного, а потом и другого бандита увесистым железнодорожным фонарём, после чего оба позорно бежали. Вот при каких драматических обстоятельствах на свет появилась будущий мастер слова, автор проникновенных лирических стихов – Раиса Николаевна Котовская!

Перечитывая, при написании этого материала, подаренные ею сборники, с грустью вижу: до чего же поверхностно я их тогда прочитал. Во многих стихотворениях нахожу неведомые ранее глубины. Обнажая перед читателями своё сердце, полное горячей любви к родному Ставрополью, нашей Родине – России, поэтесса взволнованно

говорит об уникальности каждой человеческой жизни, необходимости такого социального устройства, где бы не было нищеты, вражды между людьми. Для стихов её последнего периода очень характерно стихотворение «Третий путь»:

Сыта плодами суеверий,
Молвой отравлена вконец,
Стучу я в запертые двери:
«Не оставляй меня, Отец!»

А духи злобы то и дело
Теснят, судилище верша:
«Молчи, юродивая дева!
Уймись, погибшая душа!»

Но восхищается всё выше
Она в иное бытие,
Уже не видя и не слыша
Злых истязателей её...

Туда, в просвет лазурно-синий
Сквозь чад беснующихся царств,
Куда восходит вся Россия
Путём невиданных мытарств.

В «Библиотеке писателей Ставрополья для школьников» издана книга Р. Котовской «Россия граничит с небом». Вся она пронизана духовностью и, без сомнения, оказывает благотворное влияние на юных читателей.

В. Ходасевич писал: «Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только тот поэт, который дышит воздухом своего века, слышит музыку своего времени. Пусть эта музыка не отвечает его

понятию гармонии, пусть она даже ему отвратительна – его слух должен быть ею заполнен, как лёгкие воздухом». Этому завету большого русского поэта была всегда верна Раиса Котовская.

Решительно давая отповедь всем, кто покидает Отечество в трудный для него час, поэтесса напоминает проверенную веками народную мудрость: «Сыт не будешь хлебами чужими, /Лучше корка, да всё же своя».

Она ушла из жизни в 56 лет – 21 января 2007 года. «Меня подкосили последние пятнадцать лет», – сказала мне Раиса Николаевна за месяц до смерти. «Вот бы записать – для всех, кому дорого творчество Котовской, её голос, – подумал я. – Да вот беда – мой диктофон сломался!..» «А ты попробуй ещё раз», – словно кто-то незримый подсказал. Я внял совету, нажал и – о чудо! – молчавший десять лет диктофон заработал! Правда, запись длится всего 16 минут (тающая на глазах поэтесса очень быстро уставала. И всё же – разговор получился, и она успела сказать «граду и миру» всё, что её так волновало.

Перед самым уходом она подарила мне на память первый номер альманаха «Ставрополье» за 1967 год, со своей первой в нём публикацией. И не удержалась от обиды: «Подборка моих стихов меня тогда страшно огорчила! Вместо строки «Мои ночи трудны...» напечатано: «Мои ноги трудны», — разве ж так можно?..».

Раздражение и обиду в последние недели жизни у Раисы Николаевны вызывали звонки от некоторых друзей и знакомых с участливым вроде бы «Как у тебя дела?» – «Неужели они не знают, что – как сажа бела?.. Так зачем задавать глупые

вопросы?..»

Неумолимая судьба (у поэтессы обнаружили, с опозданием, рак лёгких, но от операции она отказалась: «А на что мне такая жизнь?») напоследок одарила её большой радостью – она стала бабушкой, увидела своего внука.

В тяжёлое для неё время Раиса Котовская искала – и нашла – утешение в православной вере, создав ряд проникновенных произведений на эту тему. Их бережно собрал в сборнике «Судный день» – он вышел в свет в 2004 году в Москве – московский писатель, обучавшийся на одном с нею курсе в Литературном институте Петр Ткаченко. «Раиса Котовская, – пишет он во вступительной статье, – безусловно, – один из самых одарённых поэтов на юге России... Со страниц её книги дышит такой родной, щемящий мир, которого, казалось, уже давно нет на свете...»

Оставить людям после себя целый мир – это ли не лучшая награда для поэта?

Беседы о литературном мастерстве

ИВАН АКСЕНОВ

Литературоведение

II

МЕТАФОРА – «МОТОР ФОРМЫ»

За три века существования русской поэзии написаны горы стихов. Далеко не всякая страна может похвастаться таким обилием настоящих шедевров, вошедших в сокровищницу мировой литературы. Однако шедевры – это острова в океане стихов заурядных, слабых, беспомощных, не вызывающих желания перечитывать их, а уж тем более – заучивать наизусть.

Но оставим в стороне малограмотные вирши, пекущиеся сейчас на просторах России, как блины на масленицу – они стоят вне литературы, а потому не подлежат критике. Но как много издаётся стихов, написанных так называемыми профессионалами, стихов, в которых, казалось бы, всё есть: и мысли интересные высказаны, и стихотворный размер строго соблюдается, и рифмы безупречны, а вот не трогают они сердца читательского. Они не

только грамотны, они даже гладки, словно искусственный лёд катка, но сознание наше скользит по ним, не встречая никакого сопротивления, и никакого сколько-нибудь заметного следа в душе не оставляет это лёгкое, бездумное скольжение.

Причина этого – безобразность подобных стихов, отсутствие так называемых «тропов», т.е. художественных средств, среди которых особое место занимает метафора.

Я уже говорил о том, что основным законом поэзии является максимальная сжатость словесного пространства при высокой концентрации мысли и чувства.

Достигается это, прежде всего, с помощью метафор.

В статье «Как делать стихи» Маяковский писал: «Распространённым способом делания образа является метафоризирование, т.е. перенос определений, являвшихся до сего времени принадлежностью только некоторых вещей, на другие слова, вещи, явления, понятия».

Именно метафора даёт стихам крылья, придаёт им особую энергию, яркость. Недаром её называют «мотором формы».

Метафора – это такой поэтический образ, где отдельные слова или выражения сближаются по сходству их значений или по контрасту. Свойства одного предмета переносятся на другой, два разных явления приравниваются друг к другу. В этом отношении метафора несколько похожа на сравнение, только в сравнении даны оба сопоставляемых явления (например, у Брюсова: «Как царство белого снега, моя душа холодна»). Метафора же просто переносит признак одного предмета на

другой, не используя при этом слов: «словно», «будто», «как будто». Это скрытое сравнение. Можно сказать: «Осенние листья, будто пожар», а можно заменить это сравнение сочетанием слов: «пожар листьев», и это будет уже метафора.

Ещё с детства известны нам некоторые из метафор: «в огне облака», «дремлет чуткий камыш» (И. Никитин), «уж небо осенью дышало» (А. Пушкин), «ночевала тучка золотая» (М. Лермонтов), только тогда мы ещё не знали, что они так называются.

Метафора очень экспрессивна. Подобно фотовспышке, она озаряет мир, делая изображаемое явление чётким, выпуклым, надолго запечатлевающимся в нашей памяти. Заурядные, примелькавшиеся глазу вещи в свете метафоры волшебным образом преображаются, неожиданно открывая ту или иную до той поры неведомую нам сторону. Метафора пробуждает внутреннее зрение, заставляет пристальней вглядываться в явления природы и жизни.

В роли метафор могут выступать различные части речи: существительное («сон души»), глагол («вздыхает ковыль»), прилагательное («в осиротелой и бессонной широте»).

Есть метафоры привычные, бытовые, которые мы используем в своей речи, совершенно не подозревая о том, что это метафоры: «время бежит», «дождь хлещет». Для поэта они не представляют художественной ценности именно из-за своей стёртости, тривиальности. Многие из метафор, в прошлом поразивших воображение своей новизной, свежестью, со временем потеряли первоначальную выразительность, стали избитыми, безликими. Выражение «разбитое сердце», например,

однажды поразило воображение читателей своей новизной и яркостью, но потом им пользовались все кому не лень, и его заездили до такой степени, что сейчас оно ничего, кроме иронической улыбки, не вызывает.

Метафора – это отражение одного явления в другом. При этом оба явления взаимно обогащаются.

Глаз талантливого поэта способен видеть внутреннюю сущность вещей, скрытую от большинства людей. Поэт делает своё открытие достоянием читателя, заставляет его взглянуть на мир под совершенно новым углом зрения.

Очень яркие и оригинальные метафоры использовал Сергей Есенин: «увяданья золотом охваченный», «берёз изглоданные кости», «увял головы моей куст», «черемуховая вьюга». Подчас причудливы метафоры О. Мандельштама: «с шеи каплет ожерелий жир», «говорливые дебри вокзала», «омут ока удивленный», «наволочки облаков». Интересны метафоры у Андрея Белого: «зацелуй ветрами», «косматый свинец облаков», «обсвистанный ветром бурьян». Интересные метафоры есть у Игоря Северянина: «морозом выпитые лужи», «пропитались все растенья соловьями», «звонок аромат»...

Нередко уподобления, используемые тем или иным поэтом, кажутся нам слишком субъективными, но, вникнув в них глубже, мы вдруг поражаемся открытию поэта и уже по-новому воспринимаем явления, казавшиеся нам до этого времени неинтересными, прозаическими.

Вот примеры подобных метафор:

Я клавишей стаю кормил с руки...

(Б. Пастернак)

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенной вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц...

(Осип Мандельштам)

Девушки, те, что шагают
Сапогами черных глаз
По цветам моего сердца.

(В. Хлебников)

Метафора придаёт стихам значительную выразительность, напряжённость, позволяет в маленькое стихотворение вложить куда больше мыслей и чувств, чем иной поэт умеет высказать в длинной-предлинной поэме.

Есть стихи, настолько насыщенные метафорами, что для неискушенного читателя они представляют собой настоящий ребус. Примером могут служить ранние стихи Б. Пастернака или поздние О. Мандельштама. Для тех же, кто ценит настоящую поэзию, читать такие стихи – истинное наслаждение.

«Не плоской понятностью понятна и пленительна поэзия, – сказал критик Ю. Айхенвальд, – а той бездонной глубиной, теми перспективами бесконечных смыслов, которые она раскрывает в таинственной музыке своих речей».

Помните слова поэта Валерия Брюсова: «Стихи – совершеннейший из способов пользоваться человеческим словом и... разменивать его на мелочи, пользоваться им для пустяков – грешно и стыдно».

СОНЕТ

Среди множества поэтических форм, изобретённых человечеством за тысячелетия существования

поэзии, самой изящной и, пожалуй, самой трудной формой является сонет.

Впервые прикоснуться к его изысканной красоте мне довелось в моём нищем детстве, когда, в студёные зимние дни или в осеннее ненастье запертый в четырёх стенах своего убогого деревенского жилища из-за отсутствия тёплой одежды и обуви, я запоем читал и днём, и при трепещущем огоньке коптилки ночью всё, что только под руку попадалось, и незаметно для себя пристрастился к стихам. Сначала это была, разумеется, поэзия эпическая: баллады Жуковского, поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Твардовского, а потом настал и черёд лирики.

И вот тут-то и открыл я для себя такое чудо, как сонет. Как-то сразу не столько умом понял, сколько сердцем почувствовал я, что это нечто иное, нечто более значительное, чем обычное лирическое стихотворение, что по своему строю он стоит гораздо выше других поэтических форм. Поразила меня его чеканная торжественность, до предела сгущённые, сконцентрированные на незначительном пространстве четырнадцати строк могучая сила чувства и глубина философской мысли.

В сонете всё уравновешенно, гармонично, доведено до невиданного совершенства. Именно это и привлекло к нему моё внимание.

Первые сонеты, которые узнал я, были переводными. Сначала это были итальянцы – Данте и Петрарка, потом испанцы – Сервантес, Лопе де Вега, Педро Кальдерон. А вот у многочисленных советских поэтов, известных мне в ту пору, сонетов я не находил, а потому невольно стал думать, что эта прекрасная форма лирического стихотворения

давным-давно устарела. Лишь позднее я понял истинную причину этого явления: преобладающими чувствами в сонете издавна были грусть, печаль, скорбь, то есть как раз то, что было непозволительно для советской литературы, чтобы она не смела отравлять пессимизмом наш безмерно счастливый, несмотря на отчаянную бедность и полуголодное существование, народ.

Такое впечатление, будто сонет существует вечно, настолько прижился он в поэзии многих европейских народов. Недаром честь изобретения его приписывалась самому богу Аполлону, покровителю поэзии, хотя древнегреческая и древнеримская поэзия сонета не знала.

800 лет насчитывает история сонета, и за это время он достиг величайшего совершенства, сохранив при этом суровую строгость поэтической формы. Недаром поэт Валерий Брюсов считал его «идеальной формой поэтического произведения вообще».

Родился сонет на заре эпохи Возрождения. Его родоначальником считается сицилийский поэт XIII века Джакомо да Лентино. Итальянские поэты «нового сладостного стиля» значительно усовершенствовали эту поэтическую форму. Изощрённость стиля, напряжённая страстность поэтического выражения сонетов Франческо Петрарки, посвящённых жизни и смерти любимой им женщины Лауры де Сад, оказали огромное влияние на всю западноевропейскую поэзию того времени.

Были в ходу тогда и другие поэтические формы – ***канцоны, рондо, секстины,*** – но ни одна из них не заняла в литературе столь значительного места, какое занял сонет.

Само название его происходит от итальянского

слова «sonare» – «звучать». Бушующее пламя страсти, холодок печали, сдержанная скорбь и безумный взрыв отчаяния – вот основные чувства сонета. Он не терпит риторики, многословной пустоты, спокойного повествования о незначительных событиях; его отличает глубокая сосредоточенность на какой-либо мысли; он требует от автора художественной строгости, огромной дисциплинированности ума. Сонет, как правило, результат углублённой работы, тщательного отбора художественных средств, строгой эстетической экономии. Голос человеческих страстей, гул эпохи звучат в сонетах Луиса де Камоэнса, Торквато Тассо, Микеланджело, Луиса де Гонгоры и других поэтов эпохи Возрождения.

В русской поэзии сонет прижился сразу, как только разработал новую систему стихосложения Василий Тредиаковский (1-я половина XVIII века). В пушкинскую эпоху прекрасные произведения создали А. Дельвиг, Д. Веневитинов, И. Козлов, В. Кюхельбекер, В. Бенедиктов.

Сонет подчиняется строгим правилам, выработанным ещё в эпоху Возрождения. В нём всего 14 строк, ограничивающих разбег поэтической мысли; два ***катрена*** (четверостишия) и два ***терцета*** (трёхстишия) – вот и всё пространство сонета. При этом оба катрена должны быть построены всего на двух рифмах, причём в итальянском сонете рифмовка перекрёстная ***(абаб-абаб)*** или охватная ***(абба-абба)***, а во французском – кольцевая ***(абба-абба)***. В терцетах рифмовка более свободная ***(ввг-дгд, вгд-вгд, ввг-ддг)***. Довольно редкое явление – хвостатый сонет, т.е. сонет, состоящий из двух катренов и трёх терцетов. Есть сонет с кодой, т.е. с

одной лишней, 15-й, строкой. Известен безголовый сонет: одно четверостишие и два терцета. Некоторые поэты создавали половинные сонеты: один катрен и один терцет. Интересен опрокинутый сонет: сначала два терцета, затем два катрена. Довольно редко встречается сплошной сонет, построенный весь (и катрены, и терцеты) на двух рифмах. Что касается английского сонета (В. Шекспир, Э. Спенсер и др.), то это упрощённая модель, состоящая из трёх катренов перекрёстной рифмовки (причём в каждом катрене свои рифмы) и заключительного двустишия. В нём ясно просматривается отступление от строгого канонического сонета.

Было время, когда сонет в русской поэзии отступил на задний план. Это случилось в 1870-1880 годы, когда поэтическая техника пришла в упадок. Лишь в конце Х1Х – начале ХХ веков сонет занял достойное место в русской литературе. Это время мы называем Серебряным веком. Пётр Бутурлин, Иннокентий Анненский, Константин Фофанов, Фёдор Сологуб, Вячеслав Иванов, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин и многие другие поэты довели сонет до невиданного совершенства, обновив его содержание, наполнив его новой образностью.

Особый интерес представляет ***венок сонетов***. Он состоит из 15 стихотворений (210 строк). Причём последняя строка каждого предыдущего сонета становится первой строкой последующего, а из всех первых строк четырнадцати сонетов создаётся пятнадцатый, так называемый ***магистральный сонет (магистрал)***. Разумеется, он создаётся первым, а остальные сонеты – на основе его строк.

Тем, кто рискует взяться за написание сонета,

необходимо помнить, что стройность и чистота построения – необходимое условие при его создании. В сонете недопустимо повторение одной и той же строки; следует избегать просторечных слов и выражений, прозаизмов; мысль должна быть выражена целенаправленно, чётко и точно.

ПОД НЕБОМ ЯНВАРЯ

Сонет

Как величаво небо в час ночной!
На чёрном лаке – звёзд густые росы,
И Млечный Путь, как сахарная россыпь,
Белеет над долиною речной.

Искрится на стекле узор резной,
Исполненный искусником морозом,
Причудливые снежные наносы
Тревожат взор больничной белизной.

Живёт всегда, в любое время года,
Своею жизнью тайною природа
Нам, покорителям, наперекор…

Она неодолима и бессмертна,
А наша жизнь мгновенна и бесследна,
Как полночь прочертивший метеор.

Иван Аксёнов

СЛЕД В СЕРДЦАХ

Сонет

Когда прояснится ненастный небосвод
И перья облаков затеплятся, как свечи,

Под перезвон сверчков в прохладный летний вечер
Незваная печаль тайком ко мне войдёт.

Давно угасших дней полынь и терпкий мёд,
Негаданность разлук и трепет первой встречи –
Всё, что рождает грусть, и всё, что сердце лечит,
Воскреснув в памяти, в былое позовёт.

Но даже в старости, пустынной и тревожной,
Одним лишь прошлым жить на свете невозможно
Среди руин надежд и призраков побед,

И хоть шаги мои слегка отяжелели,
Хочу, как прежде, жить, стремясь к высокой цели...
Лишь для людей живя, в сердцах оставишь след.

Иван Аксёнов

ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ

Опрокинутый сонет

Глядишь в окно на почерневший сад,
На жёлтый лист, единственный, последний,
Продрогший на пронзительном ветру.

Так пристален и горестен твой взгляд,
А строгий лик загадочен и бледен,
И веет холодом от смуглых рук.

Приземистые здания теснятся
За жидкою оградою дубов.
Впечатан в грязь берёз былой убор,
И вновь душа у осени во власти.

Постылое предзимнее ненастье!
Упрямый ветер бьётся в стёкла лбом.

Всё позади: и вера, и любовь,
И нет надежды на былое счастье.

Иван Аксёнов

РУБАИ

На Востоке большую популярность получила форма лирической поэзии, называемая по-арабски *рубаи*. Это четверостишие, представляющее собою законченную мысль. Рифмуется оно обычно по схеме *аааба*, т.е. первый, второй и четвёртый стихи построены на одной рифме, третья же строка рифмы не имеет. Гораздо реже все четыре стиха имеют одну и ту же рифму *(аааа)*.

Возникла эта поэтическая форма в устном народном творчестве. В чём-то она похожа на нашу частушку. Лишь в десятом веке появились первые записи рубаи (у поэта Рудаки).

Это очень трудная форма литературного произведения, она требует от автора величайшей экономии поэтических средств и высокой концентрации мысли.

Нередко в рубаи заключается философская мысль, заставляющая задуматься над проблемами жизни. Величайшим мастером этой поэтической формы был средневековый математик, поэт и философ Омар Хайям (XII-XIII вв.), писавший в основном на персидском языке. Его рубаи мгновенно становились достоянием народа, переходили из уст в уста. В своих стихах он боролся против лжи, лицемерия, несправедливости. Его дерзкого языка боялись даже вельможи.

* * *

Океан, состоящий из капель, велик.
Из пылинок слагается материк.

Твой приход и уход не имеет значенья.
Просто муха в окно залетела на миг.

Это четверостишие может послужить отрезвляющим душем для человека (разумеется, если он достаточно умён), возомнившего себя центром мироздания и свысока смотрящего на других.

Многие рубаи Омара Хайяма наполнены глубоким философским смыслом:

* * *

Даже самые светлые в мире умы
Не смогли разогнать окружающей тьмы.
Рассказали нам несколько сказочек на ночь –
И отправились, мудрые, спать, как и мы.

* * *

Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной,
Мне известно, что мне ничего неизвестно, –
Вот последняя мудрость, открытая мной.

(Перевод Г.Плисецкого)

Нередко эта поэтическая форма могла быть и эпиграммой, и любовной зарисовкой, и застольным куплетом.

В последнее время и в русской поэзии появились последователи Омара Хайяма. Недавно, например, вышла книга пятигорского поэта Александра Мосиенко «Рубаи», в которую вошла тысяча четверостиший.

* * *

Чем дольше жизнь, тем ближе сердцу дата,
Что в юности с друзьями ты отмечал когда-то,

И вот уже друзья, как листья, опадают,
А ты вослед им смотришь виновато.

* * *

Я слышу голоса ушедших в мир иной,
Как будто бы они ещё живут со мной
И не ушли в загадочную вечность,
Став для живых частицею земной.

(Александр Мосиенко)

ТАНКА И ХОККУ

В последние годы среди российских читателей значительно возрос интерес к японской литературе. А поэтов наших привлекли к себе такие формы поэтических произведений, как *танка* и *хокку,* и они стали создавать произведения в этих жанрах. Какие же правила надо знать тому, кто взялся сочинять подобные стихи?

Танка

Танка – это пятистишие, которое состоит из 31 слога (в первой строке – 5 слогов, во второй – 7, в третьей -5, в четвёртой и пятой – по 7 слогов). Разумеется, в переводе на русский язык, с его длинными, многосложными словами соблюсти это правило трудно.

Приди же скорей
В мой приют одинокий!
Слива в полном цвету.
Ради такого случая
И чужой навестил бы.

(Сайгё)

Рифмы в танка нет, лишь изредка она проскакивает случайно, придавая стихотворению особую музыкальность. Зато танка богата ассонансами и аллитерациями, игрой слов. Основные темы танка – любовь, грусть, раздумья о жизни, однако всё это даётся в виде намёка. Важное место в этих стихах занимает пейзаж, причём в подтексте непременно выражается состояние души поэта. Используются в них сравнения, метафоры, эпитеты и т.п.

Разумеется, невозможность использовать более 31 слога ограничивает возможности поэта, краткость танка требует, чтобы он выражал мысли лаконично, больше внимания обращая на подтекст.

Тому, кто берётся за сочинение танка, нужно быть очень экономным в словах, вкладывая в минимум слов максимум смысла.

Великими поэтами, создававшими танка, были Сайгё, Фудзивара-но Саданэ, Сикиси- Найсинно, Санэтомо, Сётецу, жившие в XII-XIII вв. Создаются танка в Японии и сейчас.

Хокку (Хайку)

Хокку (или хайку) – это 17-сложное трёхстишие (5-7-5 слогов). Он возник в 15-м веке как первые три строки танка. Величайшим поэтом, сочинявшим хокку, был Басё, нищий странник, испытавший в жизни немало бед.

Хокку требует от поэта ещё большего ограничения, чем танка. Каждое слово в хокку значимо. Стихотворение не столько говорит о чём-то, сколько намекает о нём, чтобы читатель сам додумал то, что хотел сказать поэт.

Обычно это стихотворение о природе с непременным указанием времени года. Но при этом речь

идёт о судьбе человека. В хокку не может быть ничего лишнего, всё в нём просто и ясно. Но читатель должен почувствовать то, что чувствовал поэт, сочиняя своё стихотворение. Через пейзаж передаётся душевное состояние человека.

Вот два стихотворения Басё:

* * *

Над простором полей –
Ничем к земле не привязан –
Жаворонок звенит.

* * *

Какое блаженство!
Прохладное поле зелёного риса…
Воды журчанье.

Некоторые русские поэты тоже сочиняют хокку. Например, пятигорский поэт Евгений Зимин издал в 2000 году сборник своих хокку «Тропинки Кавказа».

* * *

На горе Машук
Телеигла делает
Уколы небу.

* * *

Смахну слезу.
Это всего лишь дождик.
Дождь на чужбине.

(Е. Зимин).

ТРИОЛЕТ

К твёрдым стихотворным формам относится и триолет, возникший во французской поэзии ещё в пятнадцатом веке. Особенно популярен был он в эпохи барокко и рококо как форма салонной поэзии. Многие аристократы сочиняли триолеты для своих возлюбленных.

Первыми авторами русских триолетов были Н. Карамзин и М. Муравьёв.

Особый интерес к этому жанру проявили многие поэты Серебряного века: К. Бальмонт, Ф. Сологуб, И. Рукавишников. Двое последних даже издали целые сборники триолетов.

Интересно то, что и в наше время у некоторых поэтов появилось желание сочинять триолеты.

В чём же особенность триолета?

Это восьмистишие с необычайной рифмовкой, с повторением некоторых строк. Схема рифмовки такова: **ABaAabAB** (здесь заглавные буквы обозначают одинаковые строки. Это легко увидеть на примере триолета современного петербургского поэта Андрея Родосского):

* * *

Двадцатый век стал прошлым веком,
А что нам новый принесёт?
Век смут, крамолы и невзгод,
Двадцатый век стал прошлым веком,
Едва моргнуть успели веком –
И мчится вновь за годом год…
Двадцатый век стал прошлым веком,
А что нам новый принесёт?

А вот триолет, созданный поэтом Виктором Василевским (Кисловодск – СПб):

* * *

Не дари мне музыку печали.
Я давно печальным в жизни стал.
Слишком я от дум своих устал.
Не дари мне музыку печали.
Уведи на бесконечный бал
Летними бессонными ночами!
Не дари мне музыку печали:
Я давно печальным в жизни стал.

Сонет, рубаи, танка, хокку, триолет относятся к так называемым твёрдым стихотворным формам, потому что подчиняются строгим канонам. существуют и другие твёрдые формы – *рондо, рондель, секстина, вилланель, ритурнель, газель*, но они в современной русской поэзии или совсем не употребляются, или используются только в стилизациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Есть такой анекдот: «Вы на скрипке играете?» – «Не знаю, не пробовал». Настоящим скрипачом может стать лишь тот, кто начал учиться играть на этом инструменте в четырёхлетнем возрасте и упорно занимался этим всю жизнь.

Так же обстоит дело и с поэтическим творчеством. Нередко человек берётся за сочинение стихов только тогда, когда он вышел на пенсию и у него появилось много свободного времени. Учиться сочинять стихи нужно всю жизнь, начиная лет с десяти – одиннадцати. Иначе успеха в этом трудном деле не добиться.

Для тех, кто пишет стихи, хотелось бы напом-

нить ещё одну истину: форма стихотворения должна соответствовать его содержанию, в противном случае не удастся создать у читателя нужного настроения. Нельзя, например, вызвать грусть весёлым двустопным ямбом типа:

Где наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари...

(А. Пушкин)

Для этой цели больше годится шестистопный ямб:

Созданье милое, в пылающую даль
Ушедшее сиять среди дороги Млечной!
Как память о тебе, не истребится вечно
Горенье имени, будящее печаль...

(Луис де Камоэнс)

Помогает выразить это чувство и пятистопный анапест. Именно его я использовал в одном из своих стихотворений (привожу последнюю строфу):

В бездне времени сгинуло всё, что там было
любимо,
И седыми песками забвенья засыпан мой путь.
Мне б туда хоть на миг, Только прошлое
неповторимо,
И того, что ушло, никому никогда не вернуть...

Книг по теории стихотворения издано немало, но нам они недоступны. Я надеюсь, что эта моя книжка поможет начинающим поэтам и тем, кто хочет научиться понимать поэзию.

Технический редактор: Ю.П. Шаталов
Дизайн и вёрстка: С.Е.Стефанова
Корректор: И.Е. Пекарская

Подписано в печать 27.09.2021.
Формат 84х108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ №270. Тираж 979 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Минераловодская типография»,
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, 33.
Тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN 978-5-905831-33-1